

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак

ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ
Автобиографический очерк
МЛАДЕНЧЕСТВО

1

В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет. В настоящем очерке я не избегну некоторого пересказа ее, хотя постараюсь не повторяться.

2

Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина, против Духовной семинарии, в Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашенные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашу квартиру над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

3

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный – Тверские-ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странниками, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замиранья жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое.

4

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулков заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль, к вокзалу.

С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемонию перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.

Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти посыпанная песком пустая улица замирала в ожидании. Суетились военные, отдавая во всеуслышание громкие приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаившего дыхание городского люда, оттесненного шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных пополах с султанами, немислимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянuty целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги.

Дух помпы был неотделим от Училища. Оно состояло в ведении министерства императорского двора. Великий князь Сергей Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал.

5

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил писмоводитель Училища.

Вот что я прочел пятьдесят лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время, в книге Н. С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого», на странице 125-й, под 1894 годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брандуков».

Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором Училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высывались из платьев, как именинные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н.Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастье.

То была, кажется, зима двух кончин – смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. Вероятно, играли знаменитое трио последнего.

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспмятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого.

6

Весной в залах Училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линией тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверью сараев. Служащие Училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках пронесли через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только вначале и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение «Союз русских художников».

В конце девяностых годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкой. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской.

Из той же кухни производилась отправка в Петербург замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива», у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочная. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно, без опоздания. Надо было поспеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникла опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, – в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

Рисунки ввиду спешности отправляли с оказией. К делу привлечена была кондукторская бригада курьерских поездов Николаевской железной дороги. Детское воображение поражал вид кондуктора в форменной железнодорожной шинели, стоявшего в ожидании на пороге кухни, как на перроне у вагонной дверцы отправляемого поезда.

На плите варился столярный клей. Рисунки второпях протирали, сушили фиксативом, наклеивали на картон, заворачивали, завязывали. Готовые пакеты запечатывали сургучом и сдавали кондуктору.

СКРЯБИН

1

Два первых десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви Флора и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и конюхами, наводнялся весь переулок до ворот Училища, как в конную ярмарку.

С наступлением нового века на моей детской памяти мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству – искусству большого города, молодому, современному, свежему.

2

Горячка девяностых годов отразилась и на Училище. Казенных ассигнований не хватало на его содержание. Поручили дельцам изыскание денежных средств для пополнения бюджета. Решено было возводить на земле Училища многоэтажные жилые корпуса для сдачи квартир внаем, а посередине владения, на месте прежнего сада, выстроить стеклянные выставочные помещения для сдачи в аренду. В конце девяностых годов стали сносить дворовые флигеля и сараи. На месте выкорчеванного сада вырыли глубокие котлованы. Котлованы наполнялись водой. В них, как в прудах, плавали утонувшие крысы, с земли в них прыгали и ныряли лягушки. Наш флигель тоже предназначен был на слом.

Зимой нам оборудовали новую квартиру из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании. Мы в нее перебрались в 1901 году. Так как квартиру

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru перекраивали из помещений, из которых одно было круглое, а другое еще более прихотливой формы, то в новом жилище, в котором мы прожили десять лет, были чулан и ванна с площадью в виде полумесяца, овальная кухня и столовая со входящим в нее полукруглым выемом. За дверью всегда слышался заглушенный гул училищных мастерских и коридоров, а из крайней, пограничной комнаты можно было слушать лекции по устройству отопления профессора Чаплыгина в архитектурном классе.

Предшествующие годы, еще на старой квартире, со мной занимались дошкольным обучением то мать, то какой-нибудь приглашенный частный преподаватель. Одно время меня готовили в Петропавловскую гимназию, и я проходил все предметы начальной программы по-немецки.

Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Она обучала меня грамоте, начаткам арифметики и французскому с самых азов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым молоком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевной вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязанья, грязноватый, серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ивановне, разговаривавшей со мной по-французски, невпопад. По окончании урока Екатерина Ивановна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпускала меня.

В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Ванновского и сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов сохранившей в программе древнегреческий.

3

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне – Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и Господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, «как у Бетховена», «как у Глинки», «как у Ивана Ивановича», «как у княгини Марьи Алексеевны», но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как БОГ, в день седьмой почивший от дел своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого недоставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, нищезанятие. В одном они были согласны – во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию.

В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной. Отец задумал картину «В ночное». На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим холмом. Увяжавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах.

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного брэнчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика, благороднейшего Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р. М. Глиэра.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне все прощали ради музыки, все виды неблагодарного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежности и странности поведения. Даже в гимназии, когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня и учителя мне все спускали. И, несмотря на это, я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать и все кругом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с «Экстазом» и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей, и скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбираю недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, взывавшее к оплате, непозволительная отроческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была оборотная сторона скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семена его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть ли не с родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству!

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемный.

В моих несчастьях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка негодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

4

Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер.

Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насущным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третьей сонаты до пятой.

Гармонические зарницы Прометея и его последних произведений кажутся мне только свидетельствами его гения, а не повседневною пищею для души, а в этих свидетельствах я не нуждаюсь, потому что поверил ему без доказательства.

Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слог, его гласные и согласные.

Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов.

Так на старом моцартовско-фильдовском языке Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что оно стало вторым ее началом.

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам, к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и пронизательно.

Вдруг в течение мелодии врывается ответ или возражение ей в другом, более высоком и женском голосе и другом, более простом и разговорном тоне. Нечаянное препирательство, мгновенно улаживаемое несогласье. И нота потрясающей естественности вносится в произведение, той естественности, которую в творчестве все решается.

Вещами общеизвестными, ходовыми истинами полно искусство. Хотя пользование ими всем открыто, общеизвестные правила долго ждут и не находят применения. Общеизвестной истине должно выпасть редкое, раз в сто лет улыбающееся счастье, и тогда она находит приложение. Таким счастьем был Скрябин. Как Достоевский не романист только и как Блок не только поэт, так Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры.

ДЕВЯТИСОТЫЕ ГОДЫ

1

В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков.

В Училище заворачивали демонстранты из мимо идущих уличных шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили сверху речи оставшимся на улице. Студенты Училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя дружина.

В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на толпу драгуны. Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за колонну, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули, и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу.

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры – «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Вероятно, тогда или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел первые в моей жизни строки Блока. Я не помню, что это было такое, «Вербочки» или из «Детского», посвященного Лениной д'Альгейм, или что-нибудь революционное, городское, но свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать.

2

Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком. Таково было его одинокое, по-детски неиспорченное слово, такова сила его действия.

Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворения никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем сырые, могучие воздействующие следы.

3

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта, – огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшая в себя судьба. Из этих качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть, наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, – на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Свет в окошке шатался.
В полумраке – один –
У подъезда шептался
С темнотою арлекин.

.
По улицам метель метет,
Свивается, шатается,
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.

.
Там кто-то машет, дразнит светом.
Так зимней ночью на крыльцо
Тень чья-то глянет силуэтом
И быстро скроется лицо.

Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость – как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием – улица.

Эти черты проникают существо Блока, Блока основного и преобладающего, Блока второго тома алконовостовского издания, Блока «Страшного мира», «Последнего дня», «Обмана», «Повести», «Легенды», «Митинга», «Незнакомки», стихов: «В туманах, над сверканьем рос», «В кабаках, в переулках, в извивах», «Девушка пела в церковном хоре».

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока – наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такую нервную, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.

4

Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве, – Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разное и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины.

5

В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся поэтическим слогом. Хваленая самобытность других, в том числе и моя, проистекала от полной беспомощности и связанности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься и переводить. Среди удручающе неумелых писаний моих того времени самые страшные – переведенная мною пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма «Тайны» Гёте в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе среди других его рецензий, написанных для издательства «Всемирная литература» и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый. Однако от забежавших вперед подробностей пора вернуться к покинутому нами изложению, остановившемуся у нас на годах давно прошедших, девятисотых.

6

Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским.

Еще большее, настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьей в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу.

Все необычно, все по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон, участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распахивающихся и захлопывающихся дверец вдоль всей стены вагона, по отдельной дверце в каждое купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящейся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами исполинского города. Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся поезда. Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминированные разноцветными огоньками автоматические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомства, засахаренный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада, слушал Вагнера.

Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомым свою «Елку» и делил музыку на три периода: на музыку животную, до Бетховена, музыку человеческую в следующем периоде и музыку будущего после себя.

Был в Берлине и Горький. Отец рисовал его. Андреевой не понравилось, что на рисунке скулы выступили, получились угловатыми. Она сказала: «Вы его не поняли. Он – готический». Так тогда выражались.

7

Наверное, после этого путешествия, по возвращении в Москву, в жизнь мою вошел другой великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

В 1900 году он ездил в Ясную Поляну, к Толстому, был знаком и переписывался с отцом и одно лето прогостил под Клином, в Завидове, у крестьянского поэта Дрожжина.

В эти далекие годы он дарил отцу свои ранние сборники с теплыми надписями. Две такие книги с большим запозданием попались мне в руки из описываемых зим и ошеломили меня тем же, чем поразили первые виденные стихотворения Блока: настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточностью, прямым назначением речи.

8

У нас Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

В 1913 году в Москве был Верхарн. Отец рисовал его. Иногда он обращался ко мне с просьбой занять портретируемого, чтобы у модели не застывало и не мертвело лицо. Так однажды я развлекал историка В. О. Ключевского. Так пришлось мне занимать Верхарна. С понятным восхищением я говорил ему о нем самом и потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. Я не предполагал, что Верхарн его знает. Позировавший преобразился. Отцу лучшего и не надо было. Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. «Это лучший поэт Европы, – сказал Верхарн, – и мой любимый названный брат».

У Блока проза остается источником, откуда вышло стихотворение. Он ее не вводит в строй своих средств выражения. Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии.

Однако сколько бы я ни разбирал и ни описывал его особенностей, я не дам о нем понятия, пока не приведу из него примеров, которые я нарочно перевел для этой главы с целью такого ознакомления.

9

ЗА КНИГОЙ

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему.
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода.

СОЗЕРЦАНИЕ

Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать среди нежданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.
Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.
Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Все, что мы побеждаем, – малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.
Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.
Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознаньи и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.

10

Приблизительно с 1907 года стали расти как грибы издательства, часто давали концерты новой музыки, одна за другою открывались выставки картин «Мира искусства», «Золотого руна», «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубой розы». Вместе с русскими именами Сомова, Сапунова, Судейкина, Крымова, Ларионова, Гончаровой мелькали французские имена Боннара и Вьюара. На выставках «Золотого руна», в затененных занавесями залах, где пахло землей, как в теплицах, от наставленных кругом горшков с гиацинтами, можно было видеть присланные на выставку работы Матисса и Родена. Молодежь примыкала к этим направлениям.

На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жильё домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа.

Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно быть еще вдобавок творчески сильною личностью, характером, из которого вырабатывается мастер. У нас были сходные интересы, общие любимцы. Он мне очень нравился.

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурылин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах. Он жил бедно, держа мать и тетку уроками и своей восторженной прямою и неистовою убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания.

Здесь университетский мой товарищ К.Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым.

У кружка было свое название. Его окрестили «Сердардой», именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на пристань через внутренность ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами.

Гурьев был из Саратова. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал непрерывным скоморошничаньем и задатками глубокой подлинности, проглядывавшими сквозь его ломанье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенной

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Островским.

У него была лобастая, круглая, как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он стоя рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял голову, откидывался назад корпусом и ноги ставил врозь, как бы застигнутый в плясовой с притопыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу.

В «Сердарде» бывали поэты, художники, Б.Б. Красин, положивший на музыку блоковские «Вербочки», будущий сотоварищ ранних моих дебютов Сергей Бобров, появлению которого на Разгуляе предшествовали слухи, будто это новонародившийся русский Рембо, издатель «Мусагета» А.М. Кожебаткин, наезжавший в Москву издатель «Аполлона» Сергей Маковский.

Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.

Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и удлинившимся от безлюдья улицам громыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», – говорил кто-нибудь на языке времени.

11

Вокруг издательства «Мусагет» образовалось нечто вроде академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовский, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер занимались с сочувственной молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирикой, эстетикой Гёте и Рихарда Вагнера, Бодлером и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией.

Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт и еще более поразительный автор «Симфоний» в прозе и романов «Серебряный голубь» и «Петербург», совершивших переворот в дореволюционных вкусах современников и от которых пошла первая советская проза.

Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную и разрушительную силу. Этот изъян излишнего одухотворения не ронял его, а вызывал участие и прибавлял страдальческую черту к его обаянию.

Он вел курс практического изучения русского классического ямба и методом статистического подсчета разбирал вместе со слушателями его ритмические фигуры и разновидности. Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слова – явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания.

Иногда молодежь при «Мусагете» собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне.

В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся над ней полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина.

Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад под названием «Символизм и бессмертие». Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы.

Доклад основывался на соображении о субъективности наших восприятий, на том, что ощущаемым нами звукам и краскам в природе соответствует нечто иное, объективное колебание звуковых и световых волн. В докладе проводилась мысль, что эта субъективность не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное, что это субъективность человеческого мира, человеческого

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru рода. Я предполагал в докладе, что от каждой умирающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и кторую он участвовал в истории человеческого существования. Главную целью доклада было выставить допущение, что, может быть, этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства. Что, кроме того, хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими спустя века после него по его произведениям.

Доклад назывался «Символизм и бессмертие» потому, что в нем утверждалась символическая, условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры.

Доклад произвел впечатление. О нем говорили. Я с него вернулся поздно. Дома я узнал, что задержанный болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой скончался на станции Астапово и что отец вызван туда телеграммой. Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал, к ночному поезду.

12

Тогда выезд за город был заметнее, чем теперь, сельская местность больше отличалась от городской, чем в настоящее время. С утра окно вагона наполнила и уже весь день не оставляла ровная, едва оживляемая редкими селениями ширь паров и озимей, тысячеверстная ширь России пахотной, деревенской, которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала. Землю уже посеребрили первые морозы, и необлетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине.

Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и барином всем барам и который, однако, из любви к ней и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по-мужицки.

13

Наверное, стало известно, что покойного будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная Софья Андреевна и, схватив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила!» И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась и как ее, едва живую, вытащили из пруда.

В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельной скалой. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельной молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолвствовать, и подавлять загадочностью поведения, и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским на свете, – с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороной.

А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже, думал я, до чего можно довести человека и более того: жену Толстого.

Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к «Онегину» и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.

14

Но в углу лежала не гора, а маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков, которых десятки он описал и рассыпал по своим страницам. Место было кругом утыкано невысокими елочками. Садившееся солнце четыремя

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru наклонными снопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими, детскими крестиками вычертившихся елочек.

Станционный поселок Астапово представлял в тот день нестройно шумевший табор мировой журналистики. Бойко торговал буфет на вокзале, официанты сбивались с ног, не поспевая за требованиями и бегом разнося поджаристые бифштексы с кровью. Рекою лилось пиво.

На вокзале были Толстые Илья и Андрей Львовичи. Сергей Львович прибыл в поезде, пришедшем за прахом Толстого для перевоза его в Ясную Поляну.

С пением «Вечной памяти» студенты и молодежь перенесли гроб с телом по станционному дворику и саду на перрон, к поданному поезду, и поставили в товарный вагон. Толпа на платформе обнажила головы, и под возобновившееся пенье поезд тихо отошел в тульском направлении.

Было как-то естественно, что Толстой успокоился, упокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежашую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели, и обняли их взором, и увековечили, навсегда на ней закрылись.

15

Если взять по одному качеству от каждого писателя, например, назвать страстность Лермонтова, многосодержательность Тютчева, поэтичность Чехова, ослепительность Гоголя, силу воображения Достоевского, – что сказать о Толстом, ограничив определение одной чертой?

Главным качеством этого моралиста, уравниателя, проповедника законности, которая охватывала бы всех без послаблений и изъятий, была ни на кого не похожая, парадоксальности достигавшая оригинальность.

Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончателности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема.

ПЕРЕД ПЕРВОЙ МИРОВОЮ ВОЙНОЮ

1

Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга.

В этом университете Ломоносов слушал математика и философа Христиана Вольфа. За полтора столетия до него здесь проездом из-за границы, перед возвращением на родину и смертью на костре в Риме, читал очерк своей новой астрономии Джордано Бруно.

Марбург – маленький средневековый городок. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно лепится по горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов и церквей, замка и университета, и утопает в густых садах, темных как ночь. У меня остались крохи от средств, отложенных на жизнь и учение в Германии. На этот неизрасходованный остаток я съездил в Италию. Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквамариново-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную, стройную, – живое извлечение из дантовских терцин. На осмотр Рима у меня не хватило денег.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров, оставленный при университете молодой историк. Он снабдил меня целым собранием подготовительных пособий, по которым сам он сдавал государственный экзамен в предшествующем году. Профессорская библиотека с избытком превышала экзаменационные требования и кроме общих руководств содержала подробные справочники по классическим древностям и отдельные монографии по разным вопросам. Я насилу увез это богатство на извозчике.

Мансуров был родней и другом молодого Трубецкого и Дмитрия Самарина. Я их знал по Пятой гимназии, где они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома.

Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая, были – один профессором энциклопедии права, другой ректором университета и известным философом. Оба отличались крупной корпуленцией и, слонами в шуртках без талий взгромоздясь на кафедру, тоном упрощения глуховатыми, аристократически картавыми, кланчащими голосами читали свои замечательные курсы.

Сходной породы были молодые люди, неразлучную тройкой заглядывавшие в университет, рослые даровитые юноши со сросшимися бровями и громкими голосами и именами.

В этом кругу была в почете Марбургская философская школа. Трубецкой писал о ней и посылал туда наиболее одаренных учеников совершенствоваться. Побывавший там до меня Дмитрий Самарин был в городке своим человеком и патриотом Марбурга. Я туда отправился по его совету.

Дмитрий Самарин был из знаменитой славянофильской семьи, в бывшем имении которой теперь раскинулся городок писателей в Переделкине и Переделкинский детский туберкулезный санаторий. Философия, диалектика, знание Гегеля были у него в крови, были наследственными. Он разбрасывался, был рассеян и, наверное, не вполне нормален. Благодаря странным выходкам, которыми он поражал, когда на него находило, он был тяжел и в общежитии невыносим. Нельзя винить родных, не уживавшихся с ним и с которыми он вечно ссорился.

В начале нэпа он очень опростившимся и всепонимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль.

Я не знаю, что случилось с Мансуровым, а знаменитый филолог Николай Трубецкой прославился на весь мир и недавно умер в Вене.

2

Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодях, близ станции Столбовой по Московско-Курской железной дороге.

В доме по преданию казаки нашей отступавшей армии отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы.

Внутри дома были узкие, по сравнению с их высотой, комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала гигантских размеров тени по углам темно-бордовых стен и потолок.

Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водороинах. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.

Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водой воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку.

В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги.

Книга называлась до глупости притязательно «Близнец в тучах», из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
названия их издательств.

Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодуя: «Какое падение! Какое варварство!» Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы-профессорши после их чтения в кругу шести или семи почитателей говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов сами собой начинают двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал.

Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего.

Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтой было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красками своей черной, бескрасочной печати.

Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял предо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которыми скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них.

Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне Белорусско-Балтийский вокзал. Строки «Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал» из названного «Вокзала» нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое дружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в «Русском архиве» Бобров сам печатался с нами и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева.

Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки». Она была права. Я часто жалел о том.

3

Жарким летом 1914 года, с засухой и полным затмением солнца, я жил на даче у Балтрушайтисов в большом имении на Оке, близ города Алексина. Я занимался предметами с их сыном и переводил для возникшего тогда Камерного театра, которого Балтрушайтис был литературным руководителем, немецкую комедию Клейста «Разбитый кувшин».

В имении было много лиц из художественного мира: поэт Вячеслав Иванов, художник Ульянов, жена писателя Муратова. Неподалеку, в Тарусе, Бальмонт для того же театра переводил «Сакунталу» Калидасы.

В июле я ездил в Москву на комиссию, призываться, и получил белый билет, чистую отставку, по укорочению сломанной в детстве ноги, с чем и вернулся на Оку к Балтрушайтисам.

Вскоре после этого выдался такой вечер. По Оке долго в пелене тумана, стлавшегося по речным камышам, плыла и приближалась снизу какая-то полковая музыка, польки и марши. Потом из-за мыса выплыл небольшой буксирный пароходик с тремя баржами. Наверное, с парохода увидели имение на горе и решили причалить. Пароход повернул через реку наперерез и подвел баржи к нашему берегу. На них оказались солдаты, многочисленная гренадерская воинская часть. Они высадились и развели костры под горою. Офицеров пригласили наверх ужинать и ночевать. Утром они отвалили. Это была одна из частностей заблаговременно проводившейся мобилизации. Началась война.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

4

Тогда я в два срока с перерывами около года прослужил домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, губернатором их сына Вальтера, славного и привязчивого мальчика.

Летом во время московских противонемецких беспорядков в числе крупнейших фирм Эйнема, Ферейна и других громили также Филиппа, контору и жилой особняк.

Разрушения производили по плану, с ведома полиции. И имущества служащих не трогали, только хозяйское. В творившемся хаосе мне сохранили белье, гардероб и другие вещи, но мои книги и рукописи попали в общую кашу и были уничтожены.

Потом у меня много пропадало при более мирных обстоятельствах. Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог. Я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершеннолетних. Но и совсем с другой точки зрения меня никогда не огорчали пропажи.

Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение.

В разное время у меня по разным причинам затерялись: текст доклада «Символизм и бессмертие». Статьи футуристического периода. Сказка для детей в прозе. Две поэмы. Тетрадь стихов, промежуточная между сборником «Поверх барьеров» и «Сестрой моей – жизнью». Черновик романа в нескольких листового формата тетрадях, которого отделанное начало было напечатано в виде повести «Детство Люверс». Перевод целой трагедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии Стюарт.

Из разоренного и наполовину сожженного дома Филиппы перебрались в наемную квартиру. Тут тоже имелась для меня отдельная комната. Я хорошо помню. Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовением лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник».

5

В те же годы, между службою у Филиппов, я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве, на севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А.Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих Горах на Каме, на химических заводах Ушковых.

В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону.

Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена «Капитанской дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь.

Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательного человека Збарского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше.

Из Тихих Гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекачивался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался и закрывал и открывал глаза.

Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стезю. Часто возок крышею наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался по ним, таща их на себе. Белизна

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.

Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала.

Я опять засыпал, теряя представление о протекшем той порою времени, и вдруг пробуждался от толчка и прекратившегося движения.

Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока доvezший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим, может быть, за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поест становихой, новый утирает усы и губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.

И опять гон всюду, свист полозьев и дремота и сон. А потом, на другой день, – неведомая даль в фабричных трубах, бескрайняя снежная пустыня большой замерзшей реки и какая-то железная дорога.

6

Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергла меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости.

Мне были по душе супруги Анисимовы, Юлиан и его жена Вера Станевич. Невольным образом мне пришлось участвовать в разрыве Боброва с ними.

Мне сделал трогательную надпись на подаренной книге Вячеслав Иванов. Бобров в кругу Брюсова высмеял надпись в таком духе, точно я сам дал толчок зубоскальству. Вячеслав Иванов перестал со мною кланяться.

Журнал «Современник» поместил мой перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин». Работа была незрелая, неинтересная. Мне следовало в ноги поклониться журналу за ее помещение. Кроме того, еще больше надлежало мне поблагодарить редакцию за то, что чья-то неведомая рука прошла по рукописи к ее вящей красе и пользе.

Но чувство правды, скромность, признательность не были в цене среди молодежи левых художественных направлений и считались признаками сентиментальности и кисляйства. Принято было заирать нос, ходить гололем и нахальничать, и, как это мне ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей.

Что-то случилось с корректурой комедии. Она опоздала и содержала посторонние приписки наборной, к тексту не относившиеся.

В оправдание Боброва надо сказать, что сам он о деле не имел ни малейшего представления и в данном случае действительно не ведал, что творил. Он сказал, что так этого безобразия, мазни в корректуре и непрошеной стилистической правки оригинала нельзя оставить и что я должен на это пожаловаться Горькому, негласно причастному, по его сведениям, к ведению журнала. Так я и сделал. Вместо благодарности редакции «Современника» я в глупом письме, полном деланной, невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою.

Наконец, и знакомство мое с Маяковским началось с полемической встречи двух враждовавших между собой футуристических групп, из которых к одной принадлежал он, а к другой я. По мысли устроителей должна была произойти некоторая потасовка, но ссоре помешало с первых слов обнаружившееся взаимопонимание нас обоих.

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости. Его признание преувеличивают. Его точку зрения на мои вещи искажают.

Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкой. Ему нравились две книги – «Поверх барьеров» и «Сестра моя – жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений. Я постараюсь дать, насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, то и другое будет субъективно окрашено и пристрастно.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству. Под физической пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен, впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем, и если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут помочь ему.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая – как знать, может быть, это еще не конец и, не ровен час, бабушка еще надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это неопозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательной страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку. Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше недостойно глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, все кончено. Прощай, Саша».

Но все они мучились неопишимо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевной болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинков Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до чрезвычайности. Это были те первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив, и может быть, архиталантлив, – это не главное в нем, а главное – железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда в период упадка главных центров глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так, в царство танго и скетинг-рингов[1] Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустье еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл.

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время! Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать!

Или он говорит:

Вам ли понять, почему я, спокойный,
насмешек грозою
душу на блюде несую
к обеду идущих лет...

Нельзя отделаться от литургических параллелей. «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынножителей» пересказывавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласы Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распева и чтений дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали и помнили с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружилось непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремление к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей – Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией.

Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве. По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды, во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство: «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Лэф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями, и, например, Есенин в период недовольства имажинизмом, просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на «вы», а с Есениным на «ты», мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

13

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабея, Федина и Всеволода Иванова, в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главною опорю.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей – жизни» с такими среди прочих строками:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха!
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

14

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.

ТРИ ТЕНИ

1

В июле 1917 года меня, по совету Брюсова, разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого.

Тогда начался большой приток возвращающихся из-за границы политических эмигрантов, людей, застигнутых на чужбине войной и там интернированных, и других. Приехал из Швейцарии Андрей Белый. Приехал Эренбург.

Эренбург расхваливал мне Цветаеву, показывал ее стихи. На одном сборном вечере в начале революции я присутствовал на ее чтении в числе других выступавших. В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня.

Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали.

Именно гармония цветаевских стихов, ясность их смысла, наличие одних достоинств и отсутствие недостатков служили мне препятствием, мешали понять, в чем их суть. Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты.

Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценил многих – Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева.

Я уже сказал, что среди молодежи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной поневоле, только двое, Асеев и Цветаева, выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru и вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил пример Хлебникова. С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела еще прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения.

2

В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму греха на душу, если скажу. За вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском.

Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно участвовавшая в середине двадцатых годов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма конца», «Поэма горы» и «Крысолов». Мы подружились.

Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы, попал в Париж, на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте, без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и беспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения.

3

В начале этого вступительного очерка, на страницах, относящихся к детству, я давал реальные картины и сцены и описывал живые происшествия, а с середины перешел к обобщениям и стал ограничивать изложение беглыми характеристиками. Это пришлось сделать в интересах сжатости.

Если бы я стал рассказывать случай за случаем и положение за положением историю объединявших меня с Цветаевой стремлений и интересов, я далеко вышел бы из поставленных себе границ. Я должен был бы посвятить этому целую книгу, так много пережито было тогда совместного, менявшегося, радостного и трагического, всегда неожиданного и всегда, от раза к разу, обоюдно расширявшего кругозор.

Но и здесь, и в оставшихся главах я воздержусь от личного и частного и ограничусь существенным и общим.

Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.

Кроме немногого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.

Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу, в один прием, обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву.

Мы были друзьями. У меня хранилось около ста писем от нее в ответ на мои. Несмотря на место, которое, как я раньше сказал, занимали в моей жизни потери и пропажи, нельзя было вообразить, каким бы образом могли когда-нибудь пропасть эти бережно хранимые драгоценные письма. Их погубила излишняя тщательность их хранения.

В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна сотрудница Музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой, на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой.

4

На протяжении десятилетий, протекших с напечатания «Охранной грамоты», я много раз думал, что если бы пришлось переиздать ее, я приписал бы к ней главу о Кавказе и двух грузинских поэтах. Время шло, и надобности в других дополнениях не представлялось. Единственным пробелом оставалась эта недостающая глава. Сейчас я напишу ее.

Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде наступающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное бляение волынки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.

5

Паоло Яшвили – замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит.

Первая мировая война застала Яшвили в Париже, студентом Сорбонны. Он кружным путем возвращался к себе на родину. На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал. Он был прирожденный рассказчик приключений. С ним вечно происходили неожиданности в духе художественных новелл. Случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку.

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик, Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.

6

Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же, в тот же вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

7

Если Яшвили весь был во внешнем, центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждую своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии – чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию.

Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят в голову, комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках.

Мысль о Табидзе наводит на стихию природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря.

Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким.

Стоит дом в Коджорах на углу дорожного поворота. Дорога подымается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды.

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибам, это заслуга тифлисских друзей-чудотворцев, которые все время что-то доставят и привозят и неизвестно подо что снабжают нас денежными ссудами от издательств.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Веянье прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристою листвою тополя, белобархатною с изнанки. Воздух переполнен одуряющими ароматами юга. И, как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
из дома дважды.

Или мы на Военно-Грузинской дороге, или в Боржоме, или в Абастумане. Или после поездок, красот, приключений и возлияний мы кто с чем, а я с подбитым от падения глазом в Бакурианах, в гостях у Леонидзе, самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу.

Ночное пиршество на траве в лесу, красавица хозяйка, две маленьких очаровательных дочки. На другой день неожиданный приход мествире, бродячего народного импровизатора, с волынкой и величание экспромтом всего стола подряд, гостя за гостем, с подобающим каждому текстом и умением ухватиться за любой подвернувшийся повод для тоста, за мой подбитый глаз, например.

Или мы на море, в Кобулетах, дожди и штормы, и в одной гостинице с нами Симон Чиковани, будущий мастер яркого живописного образа, тогда еще совсем юный. И над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мной улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке и лице. И если я еще раз прощусь с ним теперь на этих страницах, пусть будет это в его лице прощанием со всеми остальными воспоминаниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь кончается мой биографический очерк.

Продолжать его дальше было бы непомерно трудно. Соблюдая последовательность, дальше пришлось бы говорить о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции.

О мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний, которые ставил этот мир человеческой личности, чести и гордости, трудолюбию и выносливости человека.

Вот он отступил в даль воспоминаний, этот единственный и подобия не имеющий мир, и высится на горизонте, как горы, видимые с поля, или как дымящийся в ночном зареве далекий большой город.

Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы.

Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, – не только бессмысленно и бесцельно, писать так – низко и бессовестно.

Мы далеки еще от этого идеала.

Весна 1956, ноябрь 1957

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

НАЧАЛЬНАЯ ПОРА

1912 – 1914

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит. Достать пролетку. За шесть гривен
Чрез благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.
1912

СОН

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Мне снилась осень в полусвете стекол,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,
И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе.
Но время шло, и старилось, и глохло,
И паволокой рамы серебра,
Заря из сада обдавала стекла
Кровавыми слезами сентября.
Но время шло и старилось. И рыхлый,
Как лед, трещал и таял кресел шелк.
Вдруг, громкая, запнулась ты и стихла,
И сон, как отзвук колокола, смолк.
Я пробудился. Был, как осень, темен
Рассвет, и ветер, удаляясь, нес,
Как за возом бегущий дождь соломин,
Грядущих по небу берез.
1913, 1928

ВОКЗАЛ

Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать – не исчислить заслуг.
Бывало, вся жизнь моя – в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пынут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.
Бывало, лишь рядом усядусь –
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.
Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.
И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.
И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, –
О, быть бы и мне в их числе!
1913, 1928

ЗИМА

Прижимаюсь щекою к воронке
Завитой, как улитка, зимы.
«По местам, кто не хочет – к сторонке!»
Шумы-шорохи, гром кутерьмы.
«Значит – в „море волнуется“? В повесть,
Завивающуюся жгутом,
Где вступают в черед, не готовясь?
Значит – в жизнь? Значит – в повесть о том,
Как нечаян конец? Об уморе,
Смехе, сутолоке, беготне?
Значит – вправду волнуется море
И стихает, не справясь о дне?»
Это раковины ли гуденье?
Пересуды ли комнат-тихонь?
Со своей ли поссорившись тенью,
Громыкает заслонкой огонь?
Поднимаются вздохи отдушин
И осматриваются – и в плач.
Черным храпом карет перекушен,
В белом облаке скачет лихач.
И невыполотые заносы
На оконный ползут парапет.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
За стаканчиками купороса
Ничего не бывало и нет.
1913, 1928

ПИРЫ

Пью горечь тубероз, небес осенних горечь
И в них твоих измен горящую струю.
Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ,
Рыдающей строфы сырую горечь пью.
Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим.
Надежному куску объявлена вражда.
Тревожный ветер ночей – тех здравиц виночерпьем,
Которым, может быть, не сбывься никогда.
Наследственность и смерть – застольцы наших трапез.
И тихую зарей – верхи дерев горят –
В сухарнице, как мышь, копается анапест,
И Золушка, спеша, меняет свой наряд.
Полы подметены, на скатерти – ни крошки,
Как детский поцелуй, спокойно дышит стих,
И Золушка бежит – во дни удач на дрожках,
А сдан последний грош, – и на своих двоих.
1913, 1928

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Не поправить дня усильями светилен,
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.
Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу – косяк особняка:
Это – барский дом, и я в нем гувернером.
Я один – я спать уснул ученика.
Никого не ждут. Но – наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо замечено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой – одно.
Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар – исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.
Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин,
Вмерзшие бутылки голых черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях, нелюдимый дым.
1913, 1928

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ

1914 – 1916

ПЕТЕРБУРГ

Как в пулю сажают вторую пулю
Или бьют на пари по свечке,
Так этот раскат берегов и улиц
Петром разряжен без осечки.
О, как он велик был! Как сеткой конвульсий
Покрылись железные щеки,
Когда на Петровы глаза наворачнулись,
Слезя их, заливы в осоке!
И к горлу балтийские волны, как комья
Тоски, подкатили; когда им
Забвенья владело; когда он знакомил
С империей царство, край – с краем.
Нет времени у вдохновенья. Болото,
Земля ли, иль море, иль лужа, –
Мне здесь сновиденье явилось, и счеты
Сведу с ним сейчас же и тут же.
Он тучами был, как делами, завален.
В распоротый пасмурный парус
Ненастья – щетиною ста готовален

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Врезалась царская ярость.
В дверях, над Невой, на часах, гайдуками,
Века пожирая, стояли
Шпалеры бессонниц в горячечном гаме
Рубанков, снастей и пицалей.
И знали: не будет приема. Ни мамок,
Ни дядек, ни бар, ни холопей,
Пока у него на чертежный подрамок
Надеты таежные топи.

Волны толкутся. Мостки для ходьбы.
Облачно. Небо над буюм, залитым
Мутью, мешает с точеным графитом
Узких свистков паровые клубы.
Пасмурный день растерял катера.
Снасти крепки, как раскуренный кнастер.
Дегтем и доками пахнет ненастье
И огурцами – баркасов кора.
С мартовской тучи летят паруса
Наоткось, мокрыми хлопьями в слякоть,
Тают в каналах балтийского шлака,
Тлеют по черным следам колеса.
Облачно. Щелкает лодочный блок.
Пристани бьют в ледяные ладоши.
Гулко булыжник обрушивши, лошадь
Глухо въезжает на мокрый песок.

Чертежный рейсфедер
Всадника медного
От всадника – ветер
Морей унаследовал.
Каналы на прибыли,
Нева прибывает.
Он северным грифелем
Наносит трамваи.
Попробуйте, лягте-ка
Под тучею серой,
Здесь скачут на практике
Поверх барьеров.
И видят окраинцы:
За Нарвской, на Охте,
Туман продирается,
Отодранный ногтем.
Петр машет им шляпою,
И плещет, как прапор,
Пурги расцарапанный,
Надорванный рапорт.
Сограждане, кто это,
И кем на терзанье
Распущены по ветру
Полотнища зданий?
Как план, как ландкарту
На плотном папирусе,
Он город над мартом
Раскинул и выбросил.

Тучи, как волосы, встали дыбом
Над дымной, бледной Невой.
Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был,
Город – вымысел твой.
Улицы рвутся, как мысли, к гавани
Черной рекой манифестов.
Нет, и в могиле глухой и в саване
Ты не нашел себе места.
Волн наводненья не удержишь сваями.
Речь их, как кисти слепых повитух.
Это ведь бредишь ты, невменяемый,
Быстро бормочешь вслух.

1915

* * *

Не как люди, не еженедельно,
Не всегда, в столетье раза два
Я молил тебя: членораздельно
Повтори творящие слова.
И тебе ж невыносимы смеси
Откровений и людских неволь.
Как же хочешь ты, чтоб я был весел?
С чем бы стал ты есть земную соль?
1915

МЕТЕЛЬ

1

В посаде, куда ни одна нога
Не ступала, лишь ворожеи да вьюги
Ступала нога, в бесноватой округе,
Где и то, как убитые, спят снега, –
Постой, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, лишь ворожеи
Да вьюги ступала нога, до окна
Дохлестнулся обрывок шальной шлеи.
Ни зги не видать, а ведь этот посад
Может быть в городе, в Замоскворечьи,
В Замостьи, и прочая (в полночь забредший
Гость от меня отшатнулся назад).
Послушай, в посаде, куда ни одна
Нога не ступала, одни душегубы,
Твой вестник – осиновый лист, он безгубый,
Без голоса. Вьюга, бледней полотна!
Метался, стучался во все ворота,
Кругом озирался, смерчком с мостовой...
– Не тот это город, и полночь не та,
И ты заблудился, ее вестовой!
Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста.
В посаде, куда ни один двуногий...
Я тоже какой-то... я сбился с дороги:
– Не тот это город, и полночь не та.

2

Все в крестиках двери, как в Варфоломееву
Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы:
Заваливай окна и рамы заклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.
Бушует бульваров безлиственных заговор,
Они поклялись извести человечество.
На сборное место, город! За город!
И вьюга дымится, как факел над нечистью.
Пушинки непрошено валяются на руки.
Мне страшно в безлюдьи пороши разнузданной.
Снежинки снуют, как ручные фонарики.
Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!
Дыра полыньи, и мерещится в музыке
Пурги: – Колиньи, мы узнали твой адрес! –
Секиры и крики: – Вы узнаны, узники
Уюта! – и по двери мелом – крест-накрест.
Что лагерем стали, что подняты на ноги
Подонки творенья, метели – сполагоря.
Под праздник отправятся к праотцам правнуки.
Ночь Варфоломеева. За город, за город!
1914, 1928

ВЕСНА

1

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеплен
Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Лес стянут по горлу петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной глadiator органа.
Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.
Расти себе пышные брыжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

2

Весна! Не отлучайтесь
Сегодня в город. Стаями
По городу, как чайки,
Льды раскричались, таючи.
Земля, земля волнуется,
И катятся, как волны,
Чернеющие улицы –
Им, ветреницам, холодно.
По ним плывут, как спички,
Сгорая и захлебываясь,
Сады и электрички –
Им, ветреницам, холодно.
От кружки синевы со льдом,
От пены буревестников
Вам дурно станет. Впрочем, дом
Кругом затоплен песнью.
И бросьте размышлять о тех,
Кто выехал рыбачить.
По городу гуляет грех
И ходят слезы падших.

3

Разве только грязь видна вам,
А не скачет таль в глазах?
Не играет по канавам –
Словно в яблоках рысак?
Разве только птицы цедят,
В синем небе щебеча,
Ледяной лимон объеден
Сквозь соломину луча?
Оглянись, и ты увидишь
До зари, весь день, везде,
С головой Москва, как Китеж, –
В светло-голубой воде.
Отчего прозрачны крыши
И хрустальны колера?
Как камыш, кирпич колыша,
Дни несутся в вечера.
Город, как болото, топок,
Струпья снега на счету,
И февраль горит, как хлопок,
Захлебнувшийся в спирту.
Белым пламенем измучив
Зоркость чердаков, в косом
Переплете птиц и сучьев –
Воздух гол и невесом.
В эти дни теряешь имя,
Толпы лиц сшибают с ног.
Знай, твоя подруга с ними,
Но и ты не одинок.

1914

УРАЛ ВПЕРВЫЕ

Без родовспомогательницы, во мраке, без памяти,
На ночь натыкаясь руками, Урала
Твердыня орала и, падая замертво,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

В мученьях ослепшая, утро рожала.
Гремя опрокидывались нечаянно задетые
Громады и бронзы массивов каких-то.
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.
Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан – заводам и горам –
Лесным печником, злостью Горынычем,
Как опий попутчику опытным воров.
Очнулись в огне. С горизонта пунцового
На лыжах спускались к лесам азиатцы,
Лизали подошвы и соснам подсовывали
Короны и звали на царство венчаться.
И сосны, повстав и храня иерархию
Мохнатых династов, вступали
На устланный наста оранжевым бархатом
Покров из камки и сусали.
(1916)

ИЮЛЬСКАЯ ГРОЗА

Так приближается удар
За сладким, из-за ширмы лени,
Во всеоружьи мутных чар
Довольства и оцепененья.
Стоит на мертвой точке час
Не оттого ль, что он намечен,
Что желчь моя не разлилась,
Что у меня на месте печень?
Не отсыхает ли язык
У лип, не липнут листья к небу ль
В часы, как в лагере грозы
Полнеба топчется поодаль?
И слышно: гам ученья там,
Глухой, лиловый, отдаленный.
И жарко белым облакам
Грудиться, строясь в батальоны.
Весь лагерь мрака на виду.
И, мрак глазами пожирая,
В чаду стоят плетни. В чаду –
Телеги, кадки и сараи.
Как плат белы, забыли грызть
Подсолнухи, забыли сплунуть,
Их всех поработила высь,
На них дохнувшая, как юность.
Гроза в воротах! на дворе!
Преображаясь и дурея,
Во тьме, в раскатах, в серебре,
Она бежит по галерее.
По лестнице. И на крыльцо.
Ступень, ступень, ступень. – Повязку!
У всех пяти зеркал лицо
Грозы, с себя сорвавшей маску.
1915

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва,
И палое небо с дорог не подобрано.
Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот и по-доброму.
Сначала всё опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попрунным парком из ливня – под град,
Потом от сараев – к террасе бревенчатой.
Теперь не надышишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, –
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.
Со стекол балконных, как с бедер и спин

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Озябших купальщиц, – ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.
Вот луч, покатаюсь с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это ненадолго.
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.
1915, 1928

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Я клавишей стаю кормил с руки
Под хлопанье крыльев, плеск и клекот.
Я вытянул руки, я встал на носки,
Рукав завернул, ночь терлась о локоть.
И было темно. И это был пруд
И волны. – И птиц из породы люблю вас,
Казалось, скорей умертвят, чем умрут,
Крикливые, черные, крепкие клювы.
И это был пруд. И было темно.
Пылали кубышки с полуночным дегтем.
И было волною обглодано дно
У лодки. И грызлись птицы о локте.
И ночь полоскалась в гортанях запруд.
Казалось, покамест птенец не накормлен,
И самки скорей умертвят, чем умрут,
Рулады в крикливом, искривленном горле.
1915

НА ПАРОХОДЕ

Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкало за Камою рассвет.
Гремели блюда у буфетчика.
Лакей зевал, сочтя судки.
В реке, на высоте подсвечника,
Кишмя кишели светляки.
Они свисали ниткой искристой
С прибрежных улиц. Било три.
Лакей салфеткой тщился выскрести
На бронзу всплывший стеарин.
Седой молвой, ползущей исстари,
Ночной былиной камыша
Под Пермь, на бризе, в быстром бисере
Фонарной ряби Кама шла.
Волной захлебываясь, на волос
От затопленья, за суда
Нырляла и светильней плавала
В лампаде камских вод звезда.
На пароходе пахло кушаньем
И лаком цинковых белил.
По Каме сумрак плыл с подслушанным,
Не пророня ни всплеска, плыл.
Держа в руке бокал, вы суженным
Зрачком следили за игрой
Обмолвок, вившихся за ужином,
Но вас не привлекал их рой.
Вы к былям звали собеседника,
К волне до вас прошедших дней,
Чтобы последнею отцединкой
Последней капли кануть в ней.
Был утренник. Сводило челюсти,
И шелест листьев был как бред.
Синее оперенья селезня
Сверкало за Камою рассвет.
И утро шло кровавой банею,
Как нефть разлившейся зари,
Гасить рожки в кают-компани

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
и городские фонари.
1916

* * *

Я тоже любил, и дыханье
Бессонницы раннею ранью
Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
Выпархивало на архипелаг
Полян, утопавших в лохматом тумане,
В полыни и мяте и перепелах.
И тут тяжелел обожанья размах,
Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
И бухался в воздух, и падал в ознобе,
И располагался росой на полях.
А там и рассвет занимался. До двух
Несметного неба мигали богатства,
Но вот петухи начинали пугаться
Потемок и силились скрыть перепуг,
Но в глотках рвались холостые фугасы,
И страх фистулой голосил от потуг,
И гасли стожары, и, как по заказу,
С лицом пучеглазого свечегаса
Показывался на опушке пастух.
Я тоже любил, и она пока еще
Жива, может стать. Время пройдет,
И что-то большое, как осень, однажды
(Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)
Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
Над чашей. Над глупостью луж, изнывающих
По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
На ложный прибой прожитого. Я тоже
Любил, и я знаю: как мокрые пожни
От века положены году в подножье,
Так каждому сердцу кладется любовью
Знобящая новость миров в изголовье.
Я тоже любил, и она жива еще.
Все так же, катясь в ту начальную рань,
Стоят времена, исчезая за краешком
Мгновенья. Все так же тонка эта грань.
По-прежнему давнее кажется давешним.
По-прежнему, схлынувши с лиц очевидцев,
Безумствует быль, притворяясь незнающей,
Что больше она уж у нас не жилица.
И мыслимо это? Так, значит, и впрямь
Всю жизнь удаляется, а не длится
Любовь, удивленья мгновенная дань?
1917, 1928

МАРБУРГ

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение, –
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне – отказ.
Как жаль ее слез! Я святого блаженной.
Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значеньи своем подымалась.
Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Бульжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобья.
Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.
Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребячья зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».
«Шагни, и еще раз», – твердил мне инстинкт
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.
«Научись шагом, а после хоть в бег», –
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнова учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.
Одних это все ослепляло. Другим –
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгин,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.
Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.
Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозые играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.
В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал.
Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) – этот вихрь духоты...
О чем ты? Опомнись! Пропало... Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там – братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И все это помнит и тянется к ним.
Все – живо, и все это тоже – подобья.
Нет, я не пойду туда завтра. Отказ –
Полнее прощанья. Все ясно. Мы квиты.
Да и оторвусь ли от газа, от касс?
Что будет со мною, старинные плиты?
Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставят по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.
Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, сидит в углу.
И тополь – король. Я играю с бессонницей.
И ферзь – соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
1916, 1928

СЕСТРА МОЯ – ЖИЗНЬ
Лето 1917 года
ПОСВЯЩАЕТСЯ ЛЕРМОНТОВУ

Es braust der wald, am himmel zieh'n
Des Sturmes Donnerrfl?ge,
Da mal'ich in die wetter hin,

O, Mädchen, deine Z?ge.

Nic. Lenau[2]

ПАМЯТИ ДЕМОНА

Приходил по ночам
В синеве ледника от Тамары,
Парой крыл намечал,
Где гудеть, где кончатся кошмару.
Не рыдал, не сплетал
Оголенных, исхлестанных, в шрамах.
Уцелела плита
За оградой грузинского храма.
Как горбунья дурна,
Под решеткою тень не кривлялась.
У лампы зурна,
Чуть дыша, о княжне не справлялась.
Но сверканье рвалось
В волосах, и, как фосфор, трещали.
И не слышал колосс,
Как седеет Кавказ за печалью.
От окна на аршин,
Пробирая шерстинки бурнуса,
Клялся льдами вершин:
Спи, подружка, лавиной вернуся.

ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудачеств, бедствий и замет.
Буря не месяц будет мечь,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.
Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Прояснит много из того,
Что мне и милой невдомек.
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь форточку кликну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетие на дворе?
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу, вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут, окунал.

* * *

Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.
Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канале.
Что только нарвется, разлаявшись, тормоз

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезняет мне.
И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь,
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь со ступенек к звезде.
Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! – Капнет и вслушается,
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков – земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.
Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверюсь,
Берется за старое – скатывается
По кровле, за желоб и через.
К губам поднесу и прислушаюсь,
Все я ли один на свете, –
Готовый навзрыд при случае, –
Или есть свидетель.

Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах
И вздохов и слез в промежутке.

ДЕВОЧКА

Ночевала тучка золотая

На груди утеса великана.

Из сада, с качелей, с бухты-барахты
Вбегают ветка в трюмо!
Огромная, близкая, с каплей смарагда
На кончике кисти прямой.
Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
За бьющей в лицо кутерьмой.
Родная, громадная, с сад, а характером –
Сестра! Второе трюмо!
Но вот эту ветку вносят в рюмке
И ставят к раме трюмо.
Кто это, – гадает, – глаза мне рюмит
Тюремной людской дремой?

* * *

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!
У капель – тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.
Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.
Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платю пробежал.
Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Обводит день теперешний
Глазами анемон.
ИЗ СУЕВЕРЬЯ
Коробка с красным померанцем –
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться,
По гроб, до морга!
Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев,
И – пенье двери.
Из рук не выпускал защелки,
Ты вырывалась,
И чуб касался чудной челки
И губы – фиалок.
О неженка, во имя прежних
И в этот раз твой
Наряд щебечет, как подснежник
Апрелю: «Здравствуй!»
Грех думать – ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.
НЕ ТРОГАТЬ
«Не трогать, свеже выкрашен», –
Душа не береглась,
И память – в пятнах икр и щек,
И рук, и губ, и глаз.
Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтый белый свет
С тобой – белей белил.
И мгла моя, мой друг, божусь,
Он станет как-нибудь
Белей, чем бред, чем абажур,
Чем белый бинт на лбу!

* * *

Ты так играла эту роль!
Я забывал, что сам – суфлер!
Что будешь петь и во второй,
Кто б первой ни совлек.
Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
Лугами кошених кормов.
Ты так играла эту роль,
Как лепет шлюз – кормой!
И, низко рея на руле
Касаткой об одном крыле,
Ты так! – ты лучше всех ролей
Играла эту роль!

* * *

Душистую веткою машучи,
Впивая впотьмах это благо,
Бежала на чашечку с чашечки
Грозой одуренная влага.
На чашечку с чашечки скатываясь,
Скользнула по двум, – и в обеих
Огромною каплей агатовою
Повисла, сверкает, робеет.
Пусть ветер, по таволге веющий,
Ту капельку мучит и плющит.
Цела, не дробится, – их две еще
Целующихся и пьющих.
Смеются и вырваться силятся
И выпрямиться, как прежде,
Да капле из рылец не вылиться,
И не разлучатся, хоть режьте.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ
Это – круто налившийся свист,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Это – шелканье сдавленных льдинок,
Это – ночь, леденящая лист,
Это – двух соловьев поединок.
Это – сладкий заглохший горох,
Это – слезы вселенной в лопатках,
Это – с пультов и с флейт – Фигаро
Низвергается градом на грядку.
Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка
На трепещущих мокрых ладонях.
Площе досок в воде – духота.
Небосвод завалился ольхою.
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная – место глухое.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНИЦА

Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
У которой суставы в запястьях хрустят,
Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
У которой гостят и гостят и грустят.
Что от треска колод, от бравады Ракочи,
От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
По пианино в огне пробежится и вскочит
От розеток, костяшек, и роз, и костей.
Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
Зачаженный бутон заколов за кушак,
Провальсировать к славе, шутя, полушалок
Закусивши как муку, и еле дыша.
Чтобы, комкая корку рукой, мандарина
Холодящие дольки глотать, торопясь
В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
Зал, испариной вальса запахший опять.

СТЕПЬ

Как были те выходы в тишь хороши!
Безбрежная степь, как марина,
Вздыхает ковыль, шуршат мураши
И плавают плач комариный.
Стога с облаками построились в цепь
И гаснут, вулкан на вулкане.
Примолкла и взмокла безбрежная степь,
Колеблет, относит, толкает.
Туман отовсюду нас морем обстиг,
В волчках волочась за чулками,
И чудно нам степью, как взморьем, брести –
Колеблет, относит, толкает.
Не стог ли в тумане? Кто поймет?
Не наш ли омет? Доходим. – Он.
Нашли! Он самый и есть. – Омет,
Туман и степь с четырех сторон.
И Млечный Путь стороной ведет
На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
Зайти за хаты, и дух займет:
Открыт, открыт с четырех сторон.
Туман снотворен, ковыль как мед.
Ковыль всем Млечным Путем рассорён.
Туман разойдется, и ночь обоймет
Омет и степь с четырех сторон.
Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами,
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.
Когда еще звезды так низко росли
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслин,
Льнул, жался и жаждал финала?
Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит.
Когда, когда не: – В Начале
Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Волчцы по Чулкам Торчали?
Закрой их, любимая! Запорошит!
Вся степь как до грехопаденья:
Вся – миром объята, вся – как парашют,
Вся – дыбящееся виденье!
ДУШНЫЙ РАССВЕТ
Все утро голубь ворковал
У вас в окне.
На желобах,
Как рукава сырых рубах,
Мертвели ветки.
Накрапывало. Налегке
Шли пыльным рынком тучи,
Тоску на рыночном лотке,
Боюсь, мою
Баюча.
Я умолял их перестать.
Казалось, – перестанут.
Рассвет был сер, как спор в кустах,
Как говор арестантов.
Я умолял приблизить час,
Когда за окнами у вас
Нагорным ледником
Бушует умывальный таз
И песни колотой куски,
Жар наспанной щеки и лоб
В стекло горячее, как лед,
На подзеркальник льет.
Но высь за разговор под стяг
Идущих туч
Не слышала мольбы
В запорошенной тишине,
Намокшей, как шинель,
Как пыльный отзвук молотьбы,
Как громкий спор в кустах.
Я их просил –
Не мучьте!
Не спится.
Но – моросило, и топчась
Шли пыльным рынком тучи,
Как рекруты, за хутор, поутру.
Брели не час, не век,
Как пленные австрийцы,
Как тихий хрип.
Как хрип:
«Испить,
Сестрица».
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ
Грудь под поцелуи, как под рукомоЙник!
Ведь не век, не сряду лето бьет ключом.
Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
Подымаем с пыли, топчем и влечем.
Я слышал про старость. Страшны прорицанья!
Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
Говорят – не веришь. На лугах лица нет,
У прудов нет сердца, Бога нет в бору.
Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
Это полдень мира. Где глаза твои?
Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
Дальше служат сосны. Дальше им нельзя.
Дальше – воскресенье. Ветки отрывая,
Разбежится просек, по траве скользья.
Просевая полдень. Тройцын день, гулянье,
Просит роща верить: мир всегда таков.
Так задуман чаще, так внушен поляне,
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

КАК У НИХ

Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
Подыметса, шелохнется ли сом, –
Оглушены. Не слышат. Далеки.
Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
Как угли, блещут оба очага.
Лицо лазури пышет над челом
Недышащей подруги в бочагах,
Недышащей питомицы осок.
То ветер смех люцерны вдоль высот,
Как поцелуй воздушный, пронесет,
То княженикой с топи угощен,
Ползет, и губы пачкает хвощом
И треплет речку веткой по щеке,
То киснет и хмелеет в тростнике.
У окуня ли екнул плавники, –
Бездонный день – огромен и пунцов.
Поднос Шелони – черен и свинцов.
Не свесть концов и не поднять руки...
Лицо лазури пышет над лицом
Недышащей любимицы реки.
* * *

Мой друг, ты спросишь, кто велит,

чтоб жглась юридивого речь?

Давай ронять слова,
Как сад – янтарь и cedру,
Рассеянно и щедро,
Едва, едва, едва.
Не надо толковать,
Зачем так церемонно
Мареной и лимоном
Обрызгнута листва.
Кто иглы заслезил
И хлынул через жерди
На ноты, к этажерке
Сквозь шлюзы жалюзи.
Кто коврик за дверьми
Рябиной иссурьмил,
Рядом сквозных, красивых,
Трепещущих курсивов.
Ты спросишь, кто велит,
чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа
И с дней Экклезиаста
Не покидал поста
За теской алебаstra?
Ты спросишь, кто велит,
чтоб губы астр и далий
Сентябрьские страдали?
чтоб мелкий лист раки
С седых кариатид
Слетал на сырость плит
Осенних госпиталей?
Ты спросишь, кто велит?
– Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви,
Ягайлов и Ядвиг.
Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, – подробна.
* * *

любимая – жуть! когда любит поэт,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он застлан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает – нельзя:
Прошли времена и – безграмотно.
Он видит, как свадьбы справляют вокруг.
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее, – паюсной.
Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,
Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.
И таянье Андов волеет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим бляньем тычется.
И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнёт по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.

ПОСЛЕСЛОВЬЕ

Нет, не я вам печаль причинил.
Я не стоил забвения родины.
Это солнце горело на каплях чернил,
Как в кистях запыленной смородины.
И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня независим.
Нет, не я вам печаль причинил.
Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
Целовал вас, задохшись в охре, пыльцой.
Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
За плетень, вы полям подставляли лицо
И пылали, пlying по олифе калиток,
Полумраком, золою и маком залитых.
Это – круглое лето, горев в ярлыках
По прудам, как багаж солнцепеком
заляпанных,
Сургучом опечатало грудь бурлака
И сожгло ваши платья и шляпы.
Это ваши ресницы слипались от яркости,
Это диск одичалый, рога истесав
Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
Это – запад, карбункулом вам в волоса
Залетев и гудя, угасал в полчаса,
Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
Нет, не я, это – вы, это ваша краса.

ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ

1916 – 1921

МАРГАРИТА

Разрывая кусты на себе, как силок,
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щелкал, царил и сиял соловей.
Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
Очумелых дождей меж черемух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту
Подступал. Оставался висеть на косе.
И, когда изумленной рукой проводя
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Повалилась без сил амазонка в бору.
И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лег,
Где застрял, где повис ее шлем теневой,
Разрывая кусты на себе, как силок.

МЕФИСТОФЕЛЬ

Из массы пыли за заставы
По воскресеньям высыпали,
Меж тем как, дома не застав их,
Ломились ливни в окна спален.
Велось у всех, чтоб за обедом
Хотя б на третье дождь был подан,
Меж тем как вихрь – велосипедом
Летал по комнатным комодам.
Меж тем как там до потолков их
Взлетали шелковые шторы,
Расталкивали бестолковых
Пруды, природа и просторы.
Длиннейшим поездом линейек
Позднее стягивались к валу,
Где тень, пугавшая коней их,
Ежевечерне оживала.
В чулках как кровь, при паре бантов,
По залитой зарей дороге,
Упав, как лямки с барабана,
Пылили дьяволы ноги.
Казалось, захлестав из низкой
Листвы струей высокомерья,
Снесла б весь мир надменность диска
И терпит только эти перья.
Считая ехавших, как вехи,
Едва прикладываясь к шляпе,
Он шел, откидываясь в смехе,
Шагал, приятеля облапя.
1919

ШЕКСПИР

Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах – преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.
И тесные улицы; стены, как хмель,
Копящие сырость в разросшихся бревнах,
Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.
Спиралями, мешкотно падает снег,
Уже запирали, когда он, обрюзгший,
Как сползший набрюшник, пошел в полусне
Валить, засыпая уснувшую пустошь.
Оконце и зерна лиловой слюды
В свинцовых ободьях. – «Смотря по погоде.
А впрочем... А впрочем, соснем на свободе.
А впрочем – на бочку! Цирюльник, воды!»
И, бреясь, гогочет, держась за бока,
Словам остряка, не уставшего с пира
Цедить сквозь приросший мундштук чубука
Убийственный вздор.
А меж тем у Шекспира
Остричь пропадает охота. Сонет,
Написанный ночью с огнем, без помарок,
За тем вон столом, где подкисший ранет
Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
Сонет говорит ему:
«Я признаю
Способности ваши, но, гений и мастер,
Сдается ль, как вам, и тому, на краю
Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
Весь в молнию я, то есть выше по касте,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Чем люди, – короче, что я обдаю
Огнем, как на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?
Простите, отец мой, за мой скептицизм
Сыновний, но, сэр, но, милорд, мы – в трактире.
Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!
Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов –
И вы с ним в бильярдной, и там – не пойму,
Чем вам не успех популярность в бильярдной?»
– Ему?! Ты сбесился? – И кличет слугу,
И, нервно играя малаговой веткой,
Считает: полпинты, французский рагу –
И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.
1919

ТЕМА

Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
Скала и – Пушкин. Тот, кто и сейчас,
Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
Не нашу дичь: не домыслы в тупик
Поставленного грека, не загадку,
Но предка: плоскогубого хамита,
Как оспу, перенесшего пески,
Изрытого, как оспою, пустыней,
И больше ничего. Скала и шторм.
В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,
Мелей и миль. И гул, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани,
Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
Светло как днем. Их освещает пена.
От этой точки глаз нельзя отвлечь.
Прибой на сфинкса не жалеет свеч
И заменяет свежими мгновенно.
Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
На сфинксовых губах – соленый вкус
Туманностей. Песок кругом заляпан
Сырыми поцелуями медуз.
Он чешуи не знает на сиренах,
И может ли поверить в рыбий хвост
Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
Пил бившийся как об лед отблеск звезд?
Скала и шторм и – скрытый ото всех
Нескромных – самый странный, самый тихий,
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех...
* * *

Мчались звезды. В море мылись мысы.
Слепла соль. И слезы высыхали.
Были темны спальни. Мчались мысли,
И прислушивался сфинкс к Сахаре.
Плыли свечи. И казалось, стынет
Кровь колосса. Заплывали губы
Голубой улыбкою пустыни.
В час отлива ночь пошла на убыль.
Море тронул ветерок с Марокко.
Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
Плыли свечи. Черновик «Пророка»
Просыхал, и брезжил день на Ганге.
* * *

Мне в сумерки ты все – пансионеркою,
Все – школьницей. Зима. Закат лесничим
В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося.
И вот – айда! Аукаемся, кличем.
А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она – твой шаг, твой брак, твое замужество,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
и тяжелой дознаний трибунала.
Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей
горлинок
Летели хлопья грудью против гула.
Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
С лотков на снег, их до панелей гнуло!
Перебегала ты! Ведь он подсовывал
Ковром под нас салазки и кристаллы!
Ведь жизнь, как кровь, до облака пунцового
Пожаром вьюги озарясь, хлестала!
Движенье помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
Палатки? Давку? За разменом денег
Холодных, звонких, – помнишь, помнишь давешних
Колоколов предпраздничных гуденье?
Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.
Мне в сумерки ты будто все с экзамена,
Все – с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
Глаза капсуль и пузырьков лечебных!
1918 – 1919

* * *

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, – а слова
Являются о третьем годе.
Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать – не мать.
Что ты – не ты, что дом – чужбина.
Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.
Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он Фауст, когда – фантаст?
Так начинаются цыгане.
Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.
Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься,
Грозят заре твоим зрачком,
Так затевают ссоры с солнцем.
Так начинают жить стихом.
1921

* * *

Нас мало. Нас может быть трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.
Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило, и мчит в караване,
Как тундру под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.
Слетимся, ворвемся и тронем,
Закружимся вихрем вороньим,
И – мимо! – Вы поздно поймете.
Так, утром ударивши в ворох
Соломы – с момент на намете, –

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Ветр вечен затем в разговорах
Идущего бурно собранья
Деревьев над кровельной дранью.
1921

В ЛЕСУ
Луга мутило жаром лиловатым,
В лесу клубился кафедральный мрак.
Что оставалось в мире целовать им?
Он весь был их, как воск на пальцах мяк.
Есть сон такой, – не спишь, а только снится,
Что жаждешь сна; что дремлет человек,
Которому сквозь сон палит ресницы
Два черных солнца, бьющих из-под век.
Текли лучи. Текли жуки с отливом,
Стекло стрекоз сновало по щекам.
Был полон лес мерцаньем кропотливым,
Как под щипцами у часовщика.
Казалось, он уснул под стук цифири,
Меж тем как выше, в терпком янтаре,
Испытаннейшие часы в эфире
Переставляют, сверив по жару.
Их переводят, сотрясают иглы
И сеют тень, и мают, и сверлят
Мачтовый мрак, который ввысь воздвигло,
В истому дня, на синий циферблат.
Казалось, древность счастья облетает.
Казалось, лес закатом снов объят.
Счастливые часов не наблюдают,
Но те, вдвоем, казалось, только спят.
1917

СПАССКОЕ
Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском.
Не сегодня ли с дачи съезжать вам пора?
За плетнем перекликнулось эхо с подпаском
И в лесу различило удар топора.
Этой ночью за парком знобило трясину.
Только солнце взошло, и опять – наутек.
Колокольчик не пьет костоломных росинок,
На березах несмытый лиловый отек.
Лес хандрит. И ему захотелось на отдых,
Под снега, в непробудную спячку берлог.
Да и то, меж стволов, в почерневших обводах
Парк зияет в столбцах, как сплошной некролог.
Березняк перестал ли линять и пятнаться,
Водянистую сень потуплять и редеть?
Этот – ропщет еще, и опять вам – пятнадцать,
И опять, – о, дитя, о, куда нам их деть?
Их так много уже, что не все ж – куролесить.
Их – что птиц по кустам, что грибов за межой.
Ими свой кругозор уж случалось завесить,
Их туманом случалось застлать и чужой.
В ночь кончины от тифа сгорающий комик
Слышит гул: гомерический хохот райка.
Нынче в Спасском с дороги бревенчатый домик
Видит, галлюцинируя, та же тоска.
1918

* * *

Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.
Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

1918

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Крупный разговор. Еще не запирали,
Вдруг как: моментально вон отсюда! –
Сбитая прическа, туча препирательств
И сплошной поток шопеновских этюдов.
Вряд ли, гений, ты распределяешь кету
В белом доме против кооператива,
Что хвосты луны стоят до края света
Чередой ночных садов без перерыва.
1918

* * *

Я вишу на пере у Творца
Крупной каплей лилового лоска.
Под домами – загадки канав.
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но едва лишь зарю доконав,
Снова розова ночь, как она,
И забор поражен парадоксом.
И бормочет: прерви до утра
Этих сохлых белил колебанье.
Грунт убит и червив до нутра,
Эхо чутко, как шар в кегельбане.
Вешний ветер, шевьот и грязца,
И гвоздильных застав отголоски,
И на утренней терке торца
От зари, как от хренной полоски,
Проступают отчетливо слезки.
Я креплюсь на пере у Творца
Терпкой каплей густого свинца.
1922

ПОЭЗИЯ

Поэзия, я буду клясться
Тобой и кончу, прохрипев:
Ты не осанна сладкогласца,
Ты – лето с местом в третьем классе,
Ты – пригород, а не припев.
Ты – душная, как май, Ямская,
Шевардина ночной редут,
Где тучи стоны испускают
И врозь по роспуске идут.
И в рельсовом витье двояся, –
Предместье, а не перепев –
Ползут с вокзалов восвояси
Не с песней, а оторопев.
Отростки ливня грязнут в гроздьях
И долго, долго, до зари
Кропают с кровель свой акростих,
Пуская в рифму пузыри.
Поэзия, когда под краном
Пустой, как цинк ведра, трюизм,
То и тогда струя сохранна,
Тетрадь подставлена, – струись!
1922

* * *

С тех дней стал над недрами парка сдвигаться
Суровый, листву леденивший октябрь.
Зарями ковался конец навигации,
Спирало гортань и ломило в локтях.
Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
Часами смеркалось. Сквозь все вечера
Открылся, в жару, в лихорадке и насморке,
Больной горизонт – и дворцы озирал.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И стынула кровь. Но, казалось, не стынут
Пруды, и – казалось, с последних погод
Не движутся дни, и казалось – вынут
Из мира прозрачный, как звук, небосвод.
И стало видать так далеко, так трудно
Дышать, и так больно глядеть, и такой
Покой разлился, и настолько безлюдный,
Настолько беспмятно звонкий покой!
1916

* * *

Потели стекла двери на балкон.
Их заслонял заметно зимний фикус.
Сиял графин. С недопитым глотком
Вставали вы, веселая навывказ, –
Смеркалась даль, – спокойная на вид, –
И дуло в щели, – праведница ликом, –
И день сгорал, давно остановив
Часы и кровь, в мучительно великом
Просторе долго, без конца горев
На остриях скворешниц и деревьев,
В осколках тонких ледяных пластинок,
По пустырям и на ковре в гостиной.
1916

* * *

Весна была просто тобой,
И лето – с грехом пополам.
Но осень, но этот позор голубой
Обоев, и войлок, и хлам!
Разбитую клячу ведут на махан,
И ноздри с коротким дыханьем.
Заслушались мокрой ромашки и мха,
А то и конины в духане.
В прозрачность заплаканных дней целиком
Губами и глаз полыханьем
Впиваешься, как в помутнелый флакон
С невыдохшимися духами.
Не спорить, а спать. Не оспаривать,
А спать. Не распахивать наспех
Окна, где в беспмятных заревах
Июль, разгораясь, как яспис,
Расплавливал стекла и спаривал
Тех самых пунцовых стрекоз,
Которые нынче на брачных
Брусах – мертвей и прозрачней
Осыпавшихся папирос.
Как в сумерки сонно и зябко
Окошко! Сухой купорос.
На донышке склянки – козявка
И гильзы задохшихся ос.
Как с севера дует! Как щупло
Нахохлилась стужа! О вихрь,
Общупай все глуби и дупла,
Найди мою песню в живых!
1917

* * *

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
– Поздно, выплюсь, чуть свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.
Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.
Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пищевод,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.
1918

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

1922 – 1931

БОРИСУ ПИЛЬНЯКУ

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
Иль я – урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?
И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.
1931

АННЕ АХМАТОВОЙ

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь – мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.
Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слоге.
Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.
Вдыхая дали ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.
По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер и колышет веки
ветвей, и звезд, и фонарей, и вех,
и с моста вдаль глядящей белошвейки.
Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор –
Ночная даль под взглядом белой ночи.
Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи,
Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепили прозы пристальной крупцы,
Он и во всех, как искры проводник,
Событья былью заставляет биться.
1929

ОТПЛЫТИЕ

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.
Плеск и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледно-розовая
Моря ширь берестяная.
Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, берёста.
Ширь растет, и море вздрагивает

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

От ее прироста.
Берега уходят ельничком, –
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.
С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.
Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, – но уже необыден
И, как беда, необъятен.
Страшным полуоборотом,
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.
Вот оно! И, в предвкушенье
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.
1922

Финский залив

МЕЙЕРХОЛЬДАМ
Желоба коридоров иссякли.
Гул отхлынул и сплыл, и заглох.
У окна, опоздавши к спектаклю,
Вяжет вьюга из хлопьев чулок.
Рытым ходом за сценой залягте,
И, обуглясь у всех на виду,
Как дурак, я зайду к вам в антракте,
И смешаюсь, и слов не найду.
Я увижу деревья и крыши.
Вихрем кинутся мушки во тьму.
По замашкам зимы замухрышки
Я игру в кошки-мышки пойму.
Я скажу, что от этих ужимок
Еле цел я остался внизу,
Что пакет развязался и вымок
И что я вам другой привезу.
Что от чувств на земле нет отбою,
Что в руках моих – плеск из фойе,
Что из этих признаний – любое
Вам обоим, а лучшее – ей.
Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгались,
Ваша правда, так надо играть.
Так играл пред землей молодой
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тер.
И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.
Той же пьесой неповторимой,
Точно запахом краски дыша,
Вы всего себя стерли для грима.
Имя этому гриму – душа.
1928

БАЛЬЗАК

Париж в золотых тельцах, в дельцах,
В дождях, как мщенье, долгожданных.
По улицам летит пыльца.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Разгневанно цветут каштаны.
Жара покрыла лошадей
И шелканье бичей глазурью
И, как горох на решете,
Дрожит в оконной амбразуре.
Беспечно мчатся тильбюри.
Своя довлеет злоба дневи.
До завтрашней ли им зари?
Разгневанно цветут деревья.
А их заложник и должник,
Куда он скрылся? Ах, алхимик!
Он, как над книгами, поник
Над переулками глухими.
Почти как тополь, лопоух,
Он смотрит вниз, как в заповедник,
И ткет Парижу, как паук,
Заупокойную обедню.
Его бессонные зенки
Устроены, как веретена.
Он вьет, как нитку из пеньки,
Историю сего притона.
Чтоб выкупиться из ярма
Ужасного заимодавца,
Он должен сгинуть задарма
И дать всей нитке размотаться.
Зачем же было брать в кредит
Париж с его толпой и биржей,
И поле, и в тени раки
Непринужденность сельских пиршеств?
Он грезит волей, как лакей,
Как пенсией – старик бухгалтер,
А весу в этом кулаке,
Что в каменщиковой кувалде.
Когда, когда ж, утерши пот
И сушь кофейную отвеяв,
Он оградится от забот
Шестой главою от Матфея?
1927

* * *

Рослый стрелок, осторожный охотник,
Призрак с ружьем на разливе души!
Не добирай меня сотым до сотни,
Чувству на корм по частям не кроши.
Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочежины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня влет.
За высоту ж этой звонкой разлуки,
О, пренебрегнутые мои,
Благодарю и целую вас, руки
Родины, робости, дружбы, семьи.
1928

ЛАНДЫШИ

С утра жара. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.
Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.
Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.
Жары нещадная резня

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Сюда не сунется с опушки.
И вот тыходишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.
Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.
Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,
На палец, на два от листа,
На полтора – от корневища.
Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки,
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.
1927

БРЮСОВУ

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, циновки.
Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы: жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.
Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.
Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка – улыбаться, мучась?
Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настезь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху
И мы на перья разодрали крылья?
Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувших за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?
Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?
Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет?..
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.
Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышащихся жалоб.
1923

ПРИБЛИЖЕНЬЕ ГРОЗЫ

Я.З. Черняку

Ты близко. Ты идешь пешком
Из города и тем же шагом
Займешь обрыв, взмахнешь мешком
И гром прокаташь по оврагам.
Как допетровское ядро,
Он лугом пустится вприпрыжку
И раскидает груды дров
Слетевшей на сторону крышкой.
Тогда тоска, как оккупант,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Оцепит даль. Пахнёт окопом.
Закаплет. Ласточки вскипят.
Всей купой в сумрак вступит тополь.
Слух пронесется по верхам,
Что, сколько помнят, ты – до шведа.
И холод въедет в арьергард,
Скача с передовых разведок.
Как вдруг, очистивши обрыв,
Ты с поля повернешь, раздумав,
И сгинешь, так и не открыв
Разгадки шлемов и костюмов.
А завтра я, нырнув в росу,
Ногой наткнушь на шар гранаты
И повесть в комнату внесу,
Как в оружейную палату.
1927

БЕЛЫЕ СТИХИ

И в этот миг прошли в мозгу все мысли

Единственные, нужные. Прошли

И умерли...

Александр Блок

Он встал. В столовой било час. Он знал, –
Теперь конец всему. Он встал и вышел.
Шли облака. Меж строк и как-то вскользь
Стучала трость по плитам тротуара,
И где-то громыхали дрожки. – Год
Назад Бальзак был понят сединой.
Шли облака. Стучала трость. Лило.
Он мог сказать: «Я знаю, старый друг,
Как ты дошел до этого. Я знаю,
Каким ключом ты отпер эту дверь,
Как ту взломал, как глядывал сквозь эту
И подсмотрел все то, что увидел».
Из-под ладоней мокрых облаков,
Из-под теней, из-под сырых фасадов,
Мотаясь, вырывалась в фонарях
Захватанная мартом мостовая.
«И даже с чьим ты адресом в руках
Стирал ступени лестниц, мне известно».
– Блистали бляхи спавших сторожей,
И ветер гнал ботву по рельсам рынка.
«Сто Ганских с кашлем зябло по утрам
И, волосы расчесывая, драло
Гребенкою. Сто Ганских в зеркалах
Бросало в дрожь. Сто Ганских пило кофе.
А надо было Богу доказать,
Что Ганская – одна, как он задумал...» –
На том конце, где громыхали дрожки,
Запел петух. – «Что Ганская – одна,
Как говорила подпись Ганской в письмах,
Как сон, как смерть». – Светало. В том конце,
Где громыхали дрожки, пробуждались.
Как поздно отпираются кафе
И как свежа печать сырой газеты!
Ничто не мелко, жирен всякий шрифт,
Как жир галош и шин, облитых солнцем,
Как празден дух прошедшего без сна
Такую ночь! Как голубо пылает
Фитиль в мозгу! Как ласков огонек!
Как непоследовательно насмешлив!
Он вспомнил всех. – Напротив, у молочной,
Рыжел навоз. Чирикал воробей.
Он стал искать той ветки, на которой
На части разрывался, вне себя

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
От счастья, этот щебет. Впрочем, вскоре
Он заключил, что ветка – над окном,
Ввиду того ли, что в его виду
Перед окошком не было деревьев
Иль отчего еще. – Он вспомнил всех. –
О том, что справа сад, он догадался
По тени вяза, легшей на панель.
Она блистала, как и подстаканник.
Вдруг с непоследовательностью в мыслях,
Приличною не спавшему, ему
Подумалось на миг такое что-то,
Что трудно передать. В горящий мозг
Вошли слова: любовь, несчастье, счастье,
Судьба, событие, похождение, рок,
Случайность, фарс и фальшь. – Вошли и вышли.
По выходе никто б их не узнал,
Как девушек, остриженных машинкой
И пощаженных тифом. Он решил,
Что этих слов никто не понимает.
Что это не названия картин,
Не сцены, но – разряды матерьялов.
Что в них есть шум и вес сыпучих тел,
И сумрак всех букетов москательной.
Что мумией изображают кровь,
Но можно иней начертить сангиной,
И что в душе, в далекой глубине,
Сидит такой завзятый рисовальщик
И иногда рисует *lune de miel*[3]
Куском беды, крошащейся меж пальцев,
Куском здоровья – бешеный кошмар,
Обломком бреда – светлое блаженство.
В пригретом солнцем синем картузе,
Обдернувшись, он стал спиной к окошку.
Он продавал жестяных саламандр.
Он торговал осколками лазури,
И ящерицы бегали, блеща,
По яркому песку вдоль водостоков,
И щебетали птицы. Шел народ,
И дети разевали рты на диво.
Кормилица царицей проплыла.
За март, в апрель просилось ожерелье,
И жемчуг, и глаза, – кровь с молоком
Лица и рук, и бус, и сарафана.
Еще по кровлям ездил снег. Еще
Весна смеялась, вспенив снегу с солнцем.
Десяток парниковых огурцов
Был слишком слаб, чтоб в марте дать понятие
О зелени. Но март их понимал
И всем трубил про молодость и свежесть.
Из всех картин, что память сберегла,
Припомнилась одна: ночное поле.
Казалось, в звезды, словно за чулок,
Мякина забивается и колет.
Глаза, казалось, Млечный Путь пылит.
Казалось, ночь встает без сил с омета
И сор со звезд сметает. – Степь неслась
Рекой безбрежной к морю, и со степью
Несли стога и со стогами – ночь.
На станции дежурил крупный храп,
Как пласт, лежавший на листе железа.
На станции ревели мухи. Дождь
Звенел об зымзу, словно о подойник.
Из четырех громадных летних дней
Сложилось сердце эту память правде.
По рельсам плыли, прорезая мглу,
Столбы сигналов, ударяя в тучи,
И резали глаза. Бессонный мозг
Тянуло в степь, за шпалы и сторожки.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

На станции дежурил храп, и дождь
Ленился и вздыхал в листве. – Мой ангел,
Ты будешь спать: мне обещала ночь!
Мой друг, мой дождь, нам некуда спешить,
У нас есть время. У меня в карманах –
Орехи. Есть за чем с тобой в степи
Полночи скоротать. Ты видел? Понял?
Ты понял? Да? Не правда ль, это – то?
Та бесконечность? То обетованье?
И стоило расти, страдать и ждать.
И не было ошибкою родиться?
На станции дежурил крупный храп.
Зачем же так печально опаданье
Безумных знаний этих? Что за грусть
Роняет поцелуи, словно август,
Которого ничем не оторвать
От лиственницы? Жаркими губами
Пристал он к ней, она и он в слезах,
Он совершенно мокр, мокры и иглы...
1918

МОРСКОЙ МЯТЕЖ

Из поэмы «Девятьсот пятый год»
Приедается всё.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят,
И годы проходят,
И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет.
Ты на куче сетей.
Ты курлычешь,
Как ключ, балагурия,
И, как прядь за ушком,
Чуть щекочет струя за кормой.
Ты в гостях у детей.
Но какую неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой!
Допотопный простор
Свирепеет от пены и сипнет.
Расторопный прибой
Сатанеет
От прорвы работ.
Все расходится врозь
И по-своему воеет и гибнет
И, свинья от тины,
По сваям по-своему бьет.
Пресноту парусов
Оттесняет назад
Одинакость
Помешавшихся красок,
И близится ливня стена.
И все ниже спускается небо,
И падает накось,
И летит кувырком,
И касается чайками дна.
Гальванической мглой
Взбаламученных туч
Неуклюже,
Вперевалку, ползком,
Пробираются в гавань суда.
Синеногие молнии
Лягушками прыгают в лужу.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Голенастые снасти
Швыряет
Туда и сюда.
Все сбиралось всхрапнуть.
И карабкались крабы,
И к центру
Тяжелевшего солнца
Клонились головки репья.
И мурлыкало море,
В версте с половиной от Тендра,
Серый кряж броненосца
Оранжевым крапом
Рябя.
Солнце село.
И вдруг
Электричеством вспыхнул «Потемкин».
Со спардека на камбуз
Нахлынуло полчище мух.
Мясо было с душком...
И на море упали потемки.
Свет брюзжал до зари
И забрезжившим утром потух.
Глыбы
Утренней зыби
Скользнули,
Как ртутные бритвы,
По подножью громады,
И, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец
И ожил.
Пропели молитву.
Стали скатывать палубу.
Вынесли в море щиты.
За обедом к котлу не садились
И кушали молча
Хлеб да воду,
Как вдруг раздалось:
– Все на ют!
По местам!
На две вахты! –
И в кителе некто,
Чернея от желчи,
Гаркнул:
– Смирно! –
С буксирного кнехта
Грозя семистам.
– Недовольство?!
Кто кушать – к котлу,
Кто не хочет – на рею.
Выходи! –
Вахты замерли, ахнув.
И вдруг, сообщая,
Устремились в смятеньи
От кнехта
Бегом к батарее.
– Стой!
Довольно! –
Вскричал
Озверевший апостол борща.
Часть бегущих отстала.
Он стал поперек.
– Снова шашни?! –
Он скомандовал:
– Боцман,
Брезент!
Караул, оцепить! –
Остальные,
Забившись толпой в батарейную башню,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Ждали в ужасе казни,
Имевшей вот-вот наступить.
Шибко бились сердца.
И одно,
Не стерпевшее боли,
Взвыло:
– Братцы!
Да что ж это! –
И, волоса шевеля,
– Бей их, братцы, мерзавцев!
За ружья!
Да здравствует воля! –
Лязгом стали и ног
Откатилось
К ластам корабля.
И восстанье взвилось,
Шелестя,
До высот за бизанью,
И раздулось,
И там
Кистенем
Описало дугу.
– Что нам взапуски бегать!
Да стой же, мерзавец!
Достану! –
Трах-тах-тах...
Вынос кисти по цели
И залп на бегу.
Трах-тах-тах...
И запрыгали пули по палубам,
С палуб,
Трах-тах-тах...
По воде,
По пловцам.
– Он еще на борту?! –
Залпы в воду и в воздух.
– Ага!
Ты звереешь от жалоб?! –
Залпы, залпы.
И за ноги за борт,
И марш в Порт-Артур.
А в машинном возились,
Не зная еще хорошенько,
Как на шканцах дела,
Когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решетке
Гигантом
Прошел
Матюшенко
И, нагнувшись над адом,
Вскричал:
– Степа!
Наша взяла!
Машинист поднялся,
Обнялись.
– Попытаем без нянек.
Будь покоен!
Под стражей.
А прочим по пуле – и вплавь.
Я зачем к тебе, Степа, –
Каков у нас младший механик?
– Есть один.
– Ну и ладно.
Ты мне его на?верх отправь.
День прошел.
На заре,
Облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос:

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
– Выбирай якоря! –
Голос в облаке смолк.
Броненосец пошел на Одессу,
По суровому кряжу
Оранжевым крапом
Горя.
СПЕКТОРСКИЙ
Роман в стихах
ВСТУПЛЕНИЕ
Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.
Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.
Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.
Задача состояла в ловле фраз
О Ленине. Вниманье не дремало.
Вылавливая их, как водолаз,
Я по журналам понырять немало.
Мандат предоставлял большой простор.
Пуская в дело разрезальный ножик,
Я каждый день форсировал Босфор
Малодоступных публике обложек.
То был двадцать четвертый год. Декабрь
Твердел, к окну витринному притертый.
И холодел, как оттиск медяка,
На опухоли теплой и нетвердой.
Читальни департаментский покой
Не посещался шумом дальних улиц.
Лишь ближней, с перевязанной щекой
Мелькал в дверях рабочий ридикюлец.
Обычно ей бывало не до ляс
С библиотекаршей Наркоминдела.
Набегавшись, она во всякий час
Неслась в снежинках за угол по делу.
Их колыхало, и сквозь флер невзгод,
Косясь на комья светло-серой грусти,
Знакомился я с новостями мод
И узнавал о Конраде и Прусте.
Вот в этих-то журналах, стороной
И стал встречаться я как бы в тумане
Со славою Марии Ильиной,
Снискавшей нам всемирное вниманье.
Она была в чести и на виду,
Но указанья шли из страшной дали
И отсылали к старому труду,
Которого уже не обсуждали.
Скорей всего то был большой убор
Тем более дремучей, чем скупее
Показанной читателю в упор
Таинственной какой-то эпопеи,
Где, верно, все, что было слез и снов,
И до крови кроил наш век закройщик,
Простерлось красотой без катастроф
И стало правдой сроков без отсрочки.
Все, как один, всяк за десятерых,
Хвалили стиль и новизну метафор,
И с островами спорил материк,
Английский ли она или русский автор.
Но я не ведал, что проистечет
Из этих внеслужебных интересов.
На Рождестве я получил расчет,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Пути к дальнейшим розыскам отрезав.
Тогда в освободившийся досуг
Я стал писать Спекторского, с отвычки
Занявшись человеком без заслуг,
Дружившим с упомянутой москвичкой.
На свете былей непочатый край,
Ничем не замечательных – тем боле.
Не лез бы я и с этой, не сыграй
Статьи о ней своей особой роли.
Они упали в прошлое снопом
И озарили часть его на диво.
Я стал писать Спекторского в слепом
Повиновеньи силе объектива.
Я б за героя не дал ничего
И рассуждать о нем не скоро б начал,
Но я писал про короб лучевой,
В котором он передо мной маячил.
Про мглу в мерцаньи плошки погребной,
Которой ошибают прозы дебри,
Когда нам ставит волосы копной
Известье о неведомом шедевре.
Про то, как ночью, от норы к норе,
Дрожа, протягиваются в далекость
Зонты косых московских фонарей
С тоской дождя, попавшею в их фокус.
Как носят капли вести о езде,
И всю-то ночь все цокают да едут,
Стуча подковой об одном гвозде
То тут, то там, то в тот подъезд, то в этот.
Светает. Осень, серость, старость, муть.
Горшки и бритвы, щетки, папильотки.
И жизнь прошла, успела промелькнуть,
Как ночь под стук обшарпанной пролетки.
Свинцовый свод. Рассвет. Дворы в воде.
Железных крыш авторитетный тезис.
Но где ж тот дом, та дверь, то детство, где
Однажды мир прорезывался, грезясь?
Где сердце друга? – Хитрых глаз прищур.
Знавали ль вы такого-то? – Наслышкой.
Да, видно, жизнь проста... но чересчур.
И даже убедительна... но слишком.
Чужая даль. Чужой, чужой из труб
По рвам и шляпам шлепающий дождик,
И, отчуждёньем обращенный в дуб,
Чужой, как мельник пушкинский, художник.

1

Весь день я спал, и, рушась от загона,
На всем ходу гася в колбасных свет,
Совсем еще по-зимнему вагоны
К пяти заставам заметали след.
Сегодня ж ночью, теплым ветром залит,
В трамвайных парках снег сошел дотла.
И не напрасно лампа с жаром пялит
Глаза в окно и рвется со стола.
Гашу ее. Темь. Я ни зги не вижу.
Светает в семь, а снег, как назло, рыж.
И любо ж, верно, крякать уткой в жиже
И падать в слякоть, под кропила крыш!
Жует губами грязь. Орут невежи.
По выбоинам стынет мутный квас.
Как едется в такую рань приезжей,
С самой посадки не смежавшей глаз?
Ей гололедица лепечет с дрожью,
Что время позже, чем бывает в пять.
Распутица цепляется за вожжи,
Торцы грозятся в луже искупать.
Какая рань! В часы утра такие,
Стихиям четверем открывши грудь,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Лихие игроки, фехтуя кием,
Кричат кому-нибудь: счастливый путь!
Трактирный гам еще глушит тетерю,
Но вот, сорвав отдушину трескотню,
Порыв разгула открывает двери
Земле, воде, и ветру, и огню.
Как лешие, земля, вода и воля
Сквозь сутолоку вешалок и шуб
За голою русалкой алкоголя
Врываются, ища губами губ.
Давно ковры трясут и лампы тушат,
Не за горой заря, но и скорей
Их четвертует трескотня вертушек,
Кроит на части звон и лязг дверей.
И вот идет подвыпивший разиня.
Кабак как в половодье унесло.
По лбу его, как по галош резине,
Проволоклось раздолий помело.
Пространство спит, влюбленное в пространство.
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.
Стоит и за сердце хватает бормот
Дворов, предместий, мокрой мостовой,
Калиток, капель... Чудный гул без формы,
Как обморок и разговор с собой.
В раскатах затихающего эха
Неистовствует прерванный досуг:
Нельзя без истерического смеха
Лететь, едва потребуют услуг.
«Ну и калоши. Точно с людоеда.
Так обменяться стыдно и в бреду.
Да ну их к ляду, и без них доеду,
А не найду извозчика – дойду».
В раскатах, затихающих к вокзалам,
Бушует мысль о собственной судьбе,
О сильной боли, о довольстве малым,
О синей воле, о самом себе.

Пока ломовики везут товары,
Остатки ночи предают суду,
Песком полощут горло тротуары,
И клубы дыма борются на льду.
Покамест оглашаются открытья
На полном съезде капель и копыт,
Пока бульвар с простительною прытью
Скамью дождем растительным кропит.
Пока березы, метлы, голодранцы,
Афиши, кошки и столбы скользят
Виденьями влюбленного пространства,
Мы повесть на год отведем назад.

2

Трещал мороз, деревья вязли в кружке
Пунцовой стужи, пьяной, как крюшон,
Скрипучий сумрак раскупал игрушки
И плыл в ветвях, от дола отрешен.
Посеребренных ног роскошный шорох
Пугал в полете сизых голубей,
Волокся в дыме и висел во взорах
Воздушным лесом елочных цепей,
И солнца диск, едва проспавшись, сразу
Бросался к жженке и, круша сервиз,
Растягивался тут же возле вазы,
Нарезавшись до положенья риз.
Причин средь этой сладкой лихорадки
Нашлось немало, чтобы к Рождеству
Любовь, с сердцами наигравшись в прятки,
Внезапно стала делом наяву.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Был день, Спекторский понял, что не столько
Прекрасна жизнь, и Ольга, и зима,
Как подо льдом открылся ключ жестокий,
Которого исток – она сама.
И чем наплыв у проруби громадней,
И чем его растерянность видней,
И чем она милей и ненаглядней,
Тем ближе срок, и это дело дней.

Поселок дачный, срубленный в дуброве,
Блистал слюдой, переливался льдом,
И целым бором ели, свесив брови,
Брели на полузанесенный дом.
И, набредя, спохватывались: вот он,
Косою ниткой инея исшит,
Вчерашней бурей на живуху сметан,
Пустыню комнат башлыком вершит.
Валясь от гула и людьми покинут,
Ночами бредя шумом полых вод,
Держался тем балкон, что вьюги минут,
Как позапрошлый и как прошлый год.
А там от леса влево, где-то с тылу
Шатая ночь, как воспаленный зуб,
На полустанке лампочка коптила
И жили люди, не снимая шуб.

Забытый дом служил как бы резервом
Кружку людей, знакомых по Москве,
И потому Бухтеевым не первым
Подумалось о нем на Рождестве.
В самом кружке немало было выжиг,
Немало присоседалось извне.
Решили Новый год встречать на лыжах,
Неся расход со всеми наравне.

Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы, переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест.
Знаком ли вам сумбур таких компаний,
Благоприятный бурной тайне двух?
Кругом галдят, как бубенцы в тимпане,
От сердцевины отвлекая слух.
Счесть невозможно, сколько новогодних
Встреч было ими спрыснуто в пути.
Они нуждались в фонарях и сходнях,
Чтоб на разъезде с поезда сойти.

Он сплыл, и колесом вдоль чащ ушастых
По шпалам стал ходить, и прогудел
Чугунный мост, и взвыл лесной участок
И разрыдался весь лесной удел.
Ночные тени к кассе стали красться.
Простор был ослепительно волнист.
Толпой ввалились в зал второго класса
Переобуться и нанять возниц.
Не торговались – спяна люди щедры,
Не многих отрезвляла тишина.
Пожар несло к лесам попутным ветром,
Бренчаньем сбури, бульканьем вина.
Был снег волнист, окольный путь – извилист,
И каждый шаг готовил им сюрприз.
На розвальнях до колики резвились,
И женский смех, как снег, был серебрист.
«Не слышу. – Это тот, что за березой?
Но я ж не кошка, чтоб впотьмах...» Толчок,
Другой и третий, – и конец обоза
Влетает в лес, как к рыбаку в сачок.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
«Особенно же я вам благодарна
За этот такт; за то, что ни с одним...»
Ухаб, другой. – «Ну как?» – А мы на парных.
«А мы кульков своих не отдадим».

На вышке дуло, и, меняя скорость,
То замирали, то неслись часы.
Из сада к окнам стаскивали хворост
Четыре световые полосы.
Внизу смеялись. Лежа на диване,
Он под пол вниз перебирался весь,
Где праздник обгоняло одеванье.
Был третий день их пребывания здесь.
Дверь врезалась в сугроб на пол-аршина.
Год и на воле явно иссякал.
Рядок обледенелых порошинок
Упал куском с дверного косяка.
И обступила тьма. А ну как срежусь?
Мелькнула мысль, но, зажимая рот,
Ее сняла и опровергла свежесть
К самим перилам кравшихся широт.
В ту ночь еще ребенок годовалый
За полную неопытностью чувств,
Он содрогался. «В случае провала
Какой я новой шуткой отшучусь?»
Закрыв глаза, он ночь, как сок арбуза,
Впивал, и снег, вливаясь в душу, рдел.
Роптала тьма, что год и ей в обузу.
Все порывалось за его предел.
Спустившись вниз, он разом стал в затылок
Пыланью ламп, опилок, подолов,
Лимонов, яблок, колпаков с бутылок
И снежной пыли, ползшей из углов.
Все были в сборе, и гудящей бортью
Бил в переборки радости прилив.
Смеялись, торт черт знает чем испортив,
И фыркали, салат пересолив.
Рассказывать ли, как столпились, сели,
Сидят, встают, – шумят, смеются, пьют?
За рубенсовской росписью веселья
Мы влюбимся, и тут-то нам капут:
Мы влюбимся, тогда конец работе,
И дни пойдут по гулкой мостовой
Скакать через колесные ободья
И колотиться об землю головой.
Висит и так на волоске поэма.
Да и забыться я не вижу средств:
Мы без суда осуждены и немые,
А обнесенный будет вечно трезв.

За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед.
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.
В разгаре ужин. Вдруг, без перехода:
«Нет! Тише! Рано! Встаньте! Ваши врут!
Без двух!.. Без возражений!.. С новым годом!»
И гранных дюжин громовой салют.
«О мальчик мой, и ты, как все, забудешь
И, возмужавши, назовешь мечтой
Те дни, когда еще ты верил в чудищ?
О, помни их, без них любовь ничто,
О, если б мне на память их оставить!
Без них мы прах, без них равны нулю.
Но я люблю, как ты, и я сама ведь
Их нынешнюю ночью утоплю,
Я дуновеньем наготы свалю их.
Всей женской подноготной растворю.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И тени детства схлынут в поцелуях,
Мы разойдемся по календарю.
Шепчу? – Нет, нет. – С ликером, и покрепче.
Шепчу не я, – вишневки чернота.
Карениной, – так той дорожный сцепщик
В бреду под чепчик что-то бормотал».

Идут часы. Поставлены шарады.
Сдвигают стулья. Как прибой, клубит
Не то оркестра шум, не то оршада,
Висячей лампой к скатерти прибит.
И год не нов. Другой новей обещан.
Весь вечер кто-то чистит апельсин.
Весь вечер вьюга, не щадя затрещин,
Врывается сквозь трещины тесин.
Но юбки вьются, и поток ступеней,
Сорвавшись вниз, отпрядывает вверх.
Ядро кадрили в полном исступленьи
Разбрызгивает весь свой фейерверк,
И все стихает. Точно топот, рухнув
За кухню, попал в провал, в Мальстрем,
В века... – Рассвет. Ни звука. Лампа тухнет,
И елка иглы осыпает в крем.

До лыж ли тут! Что сделалось с погодой?
Несутся тучи мимо деревень.
И штук пятнадцать солнечных заходов
Отметили в окно за этот день.
С утра назавтра с кровли, с можжевелин
Льет в три ручья. Бурда бурдой. С утра
Промозглый день теплом и ветром хмелен,
Точь-в-точь как сами лыжники вчера.
По талой каше шлепают калошки.
У поля все смешалось в голове.
И облака, как крашенные ложки,
Крутясь, плывут в вареной синеве.
На пятый день, при всех, Спекторский, бойко
Взглянув на Ольгу, говорит, что спектр
Разложен новогоднею попойкой
И оттого-то пляшет барометр.
И так как шутка не совсем понятна
И вокруг нее стихает болтовня,
То, путаясь, он лезет на попятный
И, покраснев, смолкает на два дня.
З

«Для бодрости ты б малость подхлестнул.
Похоже, жаркий будет день, развёдрясь».
Чихает цинк, ручьи сочат весну,
Шуруя снег, бушует левый подрез.
Струится грязь, ручьи на все лады,
Хваля весну, разворковались в голос,
И, выдирая полость из воды,
Стучит, скача по камню, правый полоз.
При въезде в переулок он на миг
Припомнит утро въезда к генеральше,
Приятно будет, показав язык
Своей норе, проехать фертом дальше.
Но что за притча! Пред его дверьми
Слезает с санок дама с чемоданом.
И эта дама – «Стой же, черт возьми!
Наташа, ты?.. Негаданно, нежданно?..
Вот радость! Здравствуй. Просто стыд и срам.
Ну, что б черкнуть? Как ехалось? надолго?
Оставь, пустое, взволоку и сам.
Толкай смелей, она у нас заволгла.
Да, резонанс ужасный. Это в сад.
А хоть и спят? Ну что ж, давай потише.
Как не писать, писал дня три назад.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Признаться, и они не чаще пишут.
Вот мы и дома. Ставь хоть на рояль.
Чего ты смотришь?» – «Боже, сколько пыли!
Разгром! Что где! На всех вещах вуаль.
Скажи, тут, верно, год полов не мыли?»

Когда он в сумерки открыл глаза,
Не сразу он узнал свою берлогу.
Она была светлей, чем бирюза
По выкупе из долгого залога.
Но где ж сестра? Куда она ушла?
Откуда эта пара цинерарий?
Тележный гул колеблет гладь стекла,
И слышен каждый шаг на тротуаре.
Горит закат. На переплетах книг,
Как угли, тлеют переплеты окон.
К нему несут по лестнице сенник,
Внизу на кухне громыгнули блоком.
Не спите днем. Пластается в длину
Дыханье парового отопленья.
Очнувшись, вы очутитесь в плену
Гнетущей грусти и смертельной лени.
Несдобровать забывшемуся сном
При жизни солнца, до его захода.
Хоть этот день – хотя бы этим днем
Был вешний день тринадцатого года.
Не спите днем. Как временный трактат,
Скрепит ваш сон с минувшим мировую.
Но это перемирие прекратят!
И дернуло ж вас днем на боковую.
Вас упоил огонь кирпичных стен,
Свалила пренебрегнутая прелесть
В урочный час не оцененных сцен,
Вы на огне своих ошибок грелись.
Вам дико все. Призвание, год, число.
Вы угорели. Вас качала жалость.
Вы поняли, что время бы не шло,
Когда б оно на нас не обижалось.

4

Стояло утро, летнего теплей,
И ознаменовалось первой крупной
Головоймойкой в жизни тополей,
Которым сутки стукнуло невступно.
Прошедшей ночью свет увидел дерн.
Дорожки просыхали, как дерюга.
Клубясь бульварным рокотом валторн,
По ним мячом катился ветер с юга.
И той же ночью с часа за второй,
Вооружась «Громокипящим кубком»,
Последний сон проспори́л брат с сестрой.
Теперь они носились по покупкам.
Хвосты у касс, расчеты и чай
Влияли мало на Наташин норю,
И в шуме предотъездной толчеи
Не обошлось у них без разговоров.
Слова лились, внезапно становясь
Бессвязней сна. Когда ж еще вдобавок
Приказчик расстилал пред ними бязь,
Остаток связи спарывал прилавок.
От недосыпу брат молчал и кис,
Сестра ж трещала под дыханьем бриза,
Как языки опущенных маркиз
И сквозняки и лифты Мерилиза.
«Ты спрашиваешь, отчего я злюсь?
Садись удобней, дай и я подвинусь.
Вот видишь ли, ты – молод, это плюс,
А твой отрыв от поколенья – минус.
Ты вне исканий, к моему стыду.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
В каком ты стане? Кстати, как неловко,
Что за отъездом я не попаду
С товарищами Паши на маевку.
Ты возразишь, что я неглубока?
По-твоему, ты мне простишь поспешность,
Я что-то вроде синего чулка,
И только всех обманывает внешность?»
«Оставим спор, Наташа. Я не прав?
Ты праведница? Ну и на здоровье.
Я сыт молчаньем без твоих приправ.
Прости, я б мог отбрить еще суровей».
Таким-то родом оба провели
Последний день, случайно не повздорив.
Он начался, как сказано, в пыли,
Попал под дождь и к ночи стал лазорев.

На Земляном Валу из-за угла
Встает цветник, живой цветник из фета.
Что и земля, как клумба, и кругла, –
Поют судки вокзального буфета.
Бокалы. Карты кушаний и вин.
Пивные сетки. Пальмовые ветки.
Пары борща. Процессии корзин.
Свистки, звонки. Крахмальные салфетки.
Кондуктора. Ковши из серебра.
Литые бра. Людских роев метанье.
И гулкие удары в буфера
Тарелками со щавелем в сметане.
Стеклянные воздушные шары.
Наклонность сводов к лошадиным дозам.
Прибытье огнедышащей горы,
Несомой с громом потным паровозом.
Потом перрон и град шагов и фраз,
И чей-то крик: «Так, значит, завтра в Нижнем?»
И у окна: «Итак, в последний раз,
Ступай. Мы больше ничего не выжмем».
И вот, залившись тонкой фистулой,
Чугунный смерч уносится за Язузу,
И осыпает просеки золой,
И пилит лес сипеньем вестингауза.
И дочищает вырубку сплеча,
И, разлетаясь все неизреченней,
Несет жену фабричного врача
В чехле из гари к месту назначенья.

С вокзала возвращаются с трудом,
Брезгливую улыбку пересилия.
О город, город, жалкий скопидом,
Что ты собрал на льне и керосине?
Что перенял ты от былых господ?
Большой ли капитал тобою нажит?
Бегущий к паровозу небосвод
Содержит все, что сказано и скажут.
Ты каторгой купил себе уют
И путаешься в собственных расчетах,
А по предместьям это сознают
И в пригородах вечно ждут чего-то.
Догадки эти вовсе не кивок
В твой огород, ревнивый теоретик,
Предвестий политических тревог
Довольно мало в ожиданьях этих.
Но эти вещи в нравах слобожан,
Где кругозор свободнее гораздо,
И, городской рубеж перебежав,
Гуляет рощ зеленая зараза.
Природа ж – ненадежный элемент.
Ее вовек оседло не поселишь.
Она всем телом алчет перемен

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И вся цветет из дружной жажды зрелищ.
Все это постигаешь у застав,
Где с фонарями в выкаченном чреве
За зданья задевают поезда
И рельсами беременны деревья;
Где нет мотивов и перипетий,
Но, аппетитно выпятив цилиндры,
Паровичок на стрелке кипятит
Туман лугов, как молоко с селитрой.
Все это постигаешь у застав,
Где вещи рыщут в растворенном виде.
В таком флюиде встретил их состав
И мой герой, из тьмы вокзальной выйдя.
Заря вела его на поводу
И, жаркой лайкой стягивая тело,
На деле подтверждала правоту
Его судьбы, сложенья и удела.
Он жмурился и чувствовал на лбу
Игру той самой замши и шагрени,
Которой небо кутало толпу
И сутолоку мостовой игреней.
Затянутый все в тот же желтый жар
Горячей кожи, надушенной амброй,
Пылит и плыв заштатный тротуар,
Раздувши ставни, парные, как жабры.
Но по садам тягучий матерьял
Преображался, породнясь с листвою,
И одухотворялся и терял
Все, что на гулкой мостовой усвоил.
Где средь травы, тайком, наедине,
Дорожку к дому огненно наохрив,
Вечерний сплав смертельно леденел,
Как будто солнце ставили на погреб.
И мрак бросался в головы колонн,
Но, крупнолистый, жесткий и тверезый,
Пивным стеклом играл зеленый клен,
И ветер пену сбрасывал с березы.

5

Едва вагона выгнутая дверь
Захлопнулась за сестриной персоной,
Действительность, как выпавший зверь,
Потягиваясь, поднялась спросонок.
Она не выносила пустомель,
И только ей вернули старый навык, –
Вздохнула вслух, как дышит карамель
В крахмальной тьме колониальных лавок.
Учюяв нюхом эту москатель,
Голодный город вышел из берлоги,
Мотнул хвостом, зевнул и раскатил
Тележный гул семи холмов отлогих.
Тоска убийств, насилий и бессудств
Ударил песком по рту фортуны
И сжала крик, теснившийся из уст
Красноречивой некогда вертуньи.
И так как ей ничто не шло в башку,
То не судьба, а первое пустое
Несчастье приготовилось к прыжку,
Запасшись склянкой с серной кислотой.
Вот тут с разбега он и налетел
На Сашку Бальца. Всей сквозной округой.
Всей тьмой. На полусон. На полутень,
На что-то вроде рока. Вроде друга.
Всей световой натугой – на портал,
Всей лайкою упругой – на деревья,
Где Бальц как перст перчаточный торчал.
А говорили, – болен и в Женеве.
И точно назло он его стерег –
Намеренно под тем дверным навесом,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Куда Сережу ждали на урок
К отчаянному одному балбесу.
Но выяснилось – им в один подъезд,
Где наверху в придачу к прошлым тещам
У Бальца оказался новый тесть,
Одной из жен пресимпатичный отчим.
Там помещался новый Бальцев штаб.
Но у порога кончилась морока,
И, пятась из приятелевых лап,
Сергей поклялся забежать с урока.
Смешная частность. Сашка был мастак
По части записного словоблудья.
Он ждал гостей и о своих гостях
Таинственно заметил: «Будут люди».
Услыша сей внушительный посул,
Сергей представил некоторой Меккой
Эффектный дом, где каждый венский стул
Готов к пришествию сверхчеловека.

Смеясь в душе: «Приступим, – возгласил,
Входя, Сережа. – Как делишки, Миша?»
И, сдерживаясь из последних сил,
Уселся в кресло у оконной ниши.
«Не странно ли, что все еще висит,
И дуется, и сесть не может солнце?»
Обдумывая будущий визит,
Не вслушивался он в слова питомца.
Из окон открывался чудный вид,
Обитый темно-золотистой кожей.
Диван был тоже кожено обит.
«Какая чушь!» – подумалось Сереже.
Он не любил семьи ученика.
Их здравый смысл был тяжелей увечья,
А путь прямей и проще тупика.
Читали «Кнут», выписывали «Вече».
Кобылкины старались корчить злюк,
Но даже голосов свирепый холод
Всегда сбивался на плаксивый звук,
Как если кто задет или уколот.
Особенно заметно у самой
Страдальчества растравленная рана
Изобличалась музыкой прямой
Богатого гаремного сопрано.
Не меньшею загадкой был и он,
Невежда с правоведческим дипломом,
Холоп с апломбом и хамелеон,
Но лучших дней оплеванный обломок.
В чаду мытарств угасшая душа,
Соединял он в духе дел тогдашних
Образование с маской ингуша
И умудрялся рассуждать, как стражник.
Но в целом мире не было людей
Забитее при всей наружной спеси
И участи забытей и лютей,
Чем в этой цитадели мракобесья.
Урчали краны порчею аорт,
Ругалась, фартук подвернув, кухарка,
И весь в рассрочку созданный комфорт
Грозил сумой и кровью сердца харкал.
По вечерам висячие часы
Анализом докучных тем касались,
И, как с цепей сорвавшиеся псы,
Клопы со стен на встречного бросались.
Урок кончался. Дом, как корифей,
Топтал деревьев ветхий муравейник
И кровли, к ночи ставшие кривей
И точно потерявшие равнение.
Сергей прощался. Что-то в нем росло,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Как у детей средь суесловья взрослых,
Как будто что-то плавно и без слов
Навстречу дому близилось на веслах.
Как будто это приближался вскрик,
С которым, позабыв о личной шкуре,
Снимают с ближних бремя их вериг,
Чтоб разбросать их по клавиатуре.

В таких мечтах: «Ты видишь, – возгласил,
Входя, Сергей, – я не обманщик, Сашка», –
И, сдерживаясь из последних сил,
Присел к столу и пододвинул чашку.
И осмотрелся. Симпатичный тесть
Отсутствовал, но жил нельзя шикарней.
Картины, бронзу – все хотелось съесть,
Все как бы в рот просилось, как в пекарне.
И вдруг в мозгу мелькнуло: «И съедят.
Не только дом, но раньше или позже
И эту ночь, и тех, что тут сидят.
Какая чушь!» – подумалось Сереже.
Но мысль осталась, завязав дуэт
С тоской, что гложет поедом поэтов,
И неизвестность, точно людоед,
Окинула глазами сцену эту.
И увидала: полукруглый стол,
Цветы и фрукты, и мужчин и женщин,
И обреченья общий ореол,
И девушку с прической а la ченчи.
И абажур, что как бы клал запрет
Вовне, откуда робкий гимназистик
Смотрел, как прочь отставленный портрет,
На дружный круг живых характеристик.
На Сашку, на Сережу, – иногда
На старшего уверенного брата,
Который сдуру взял его сюда,
Но, вероятно, уведет обратно.
Их назвали, но как-то невдомек.
Запало что-то вроде «мох» иль «лемех».
Переспросить Сережа их не мог,
Затем что тон был взят как в близких семьях.
Он наблюдал их, трогаясь игрой
Двух крайностей, но из того же теста.
Во младшем крылся будущий герой.
А старший был мятежник, то есть деспот.

6

Неделю проскучал он, книг не трогав,
Потом, торгуя что-то в зеленой,
Подумал, что томиться нет предлогов,
И повернул из лавки к Ильиной.
Он чуть не улизнул от них сначала,
Но на одном из бальцевских окон
Над пропастью сидела и молчала
По внешности – насмешница, как он.
Она была без вызова глазаста,
Носила траур и нельзя честней
Витала, чтобы не соврать, верст за сто.
Урвав момент, он вышел вместе с ней.
Дорогою бессонный говор веток
Был смутен и, как слух, тысячеуст.
А главное, не делалось разведок
По части пресловутых всяких чувств.
Таких вещей умели сторониться.
Предметы были громче их самих.
А по бульвару шмыгали зарницы
И подымали спящих босомыг. И вот порой, как ветер без провесу
Взвивал песок и свирепел и креп,
Отец ее, – узнал он, – был профессор,
Весной она по нем надела креп,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

И множество чего, – и эта лава
Подробностей росла атакой в лоб
И приближалась, как гроза, по праву,
Дарованному от роду по гроб.
Затем прошла неделя, и сегодня,
Собравшись впервые к ней, он шел
Рассеянной, чем за город, свободней,
Чем с выпуска, за школьный частокол.

Когда-то дом был ложею масонской.
Лет сто назад он перешел в казну.
Пустые классы шурились на солнце.
Ремонтный хлам располагал ко сну.
В творилах с известью торчали болтны.
Рогожа скупно пропускала свет.
И было пусто, как бывает в полдни,
Когда с лесов уходят на обед.
Он долго в дверь стучался без успеха,
А позади, как бабочка в плену,
Безвыходно и пыльно билось эхо.
Отбив кулак, он отошел к окну.
Тут горбились задворки института,
Катились градом балки, камни, пот,
И, всюду сея мусор, точно смуту,
Ходило море земляных работ.
Многолошадный, буйный, голоштаный,
Двууглекислый двор кипел ключом,
Разбрасывал лопатами фонтаны,
Тянул, как квас, полки под кирпичом.
Слонялся ветер, скважистый, как траур,
Рябил, робел и, спины заголя,
Завешивал рубахами брандмауэр
И каменщиков гнал за флигеля.
У них курились бороды и ломы,
Как фитили у первых пушкарей.
Тогда казалось – рядом жгут солому,
Как на торфах в несметной мошкаре.
Землистый залп сменялся белым хряском.
Обвал бледнел, чтоб опухолью спасть.
Показывались горловые связки.
Дыханье щебня разевало пасть.
Но вот он раз застал ее. Их встречи
Пошли частить. Вне дней. Когда не след.
Он стал ходить: в ненастье; чуть рассветши;
Во сне; в часы, которых в списках нет.
Отказов не предвиделось в приеме.
Свиданья назначались: в шуме птиц;
В кистях дождя; в черемухе и в громе;
Везде, где жизнь и двум не разойтись.
«Ах, это вы? Зажмурьтесь и застыньте», –
Услышал он в тот первый раз и миг,
Когда, сторонний в этом лабиринте,
Он сосвежу и точно стал в тупик.
Их разделял и ей служил эгидой
Шкапных изнанок вытертый горбыль.
«Ну как? Поражены? Сейчас я выйду.
Ночей не сплю. Ведь тут что вещь, то быть.
Ну, здравствуйте. Я думала – подрядчик.
Они освобождают весь этаж,
Но нет ни сил, ни стимулов бодрящих
Поднять и вывезть этот ералаш.
А всех-то дел – двоих швейцаров, вас бы
Да три-четыре фуры – и на склад.
Притом пора. Мой заграничный паспорт
Давно зовет из этих анфилад».
Так было в первый раз. Он знал, что встретит
Глухую жизнь, породистую встарь,
Но он не знал, что во второй и в третий

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Споткнется сам об этот инвентарь.
Уже помочь он ей не мог. Напротив.
Вконец подпав под власть галиматъи,
Он в этот склад обломков и лохмотьев
Стал из дому переносить свои.
А щебень плыл и, поводя гортанью,
Грозил и их когда-нибудь сглотнуть.
На стройке упрощались очертанья
У них же хаос не редел отнюдь.
Свиданья учащались. С каждым новым
Они клялись, что примутся за ум,
И сложатся, и не проронят слова,
Пока не сплавят весь шурум-бурум.
Но забывались, и в пылу беседы
То громкое, что крепло с каждым днем,
Овладевало ими напоследок
И сделанное ставило вверх дном.
Оно распоряжалось с самодурством
Неразберихой из неразберих
И проливным и краткосрочным курсом
Чему-то переучивало их.
Холодный ветер, как струя муската,
Споласкивал дыханье. За спиной,
Затягиваясь ряскою раскатов,
Прудилось устье ночи водяной.
Вздыхали ветки. Заспанные прутья
Потягивались, стукались, текли,
Валились наземь в серых каплях ртути,
Приподнимались в серебре с земли.
Она ж дрожала и, забыв про старость,
Влетала в окна и вонзала киль,
Распластывая облако, как парус,
В миротворенья послужную быль.
Тут целовались, наяву и вживе.
Тут, точно дым и ливень, мга и гам,
Улыбкою к улыбке, грива к гриве,
Жемчужинами льнули к жемчугам.
Тогда в развале открывалась прелесть.
Перебегая по краям зеркал,
Меж блюд и мисок молнии вертелись,
А следом гром откормленный скакал.
И, завершая их игру с приданым,
Не стоившим лишений и утрат,
Ключами ударял по чемоданам
Саврасый, частый, жадный летний град.
Их распускали. Кипятили кофе.
Загромождали чашками буфет.
Почти всегда при этой катастрофе
Унылой тенью выростал рассвет.
И с тем же неизменным постоянством
Сползались с полу на ночной пикник
Ковры в тюках, озера из фаянса
И горы пыльных, беспросветных книг.
Ломбардный хлам смотрел еще серее,
Последних молний вздрагивала гроздь,
И оба уносились в эмпиреи,
Взаимоокрылившись, то есть врозь.
Теперь меж ними пропасти зияли.
Их что-то порознь запускало в цель.
Едва касаясь пальцами рояля,
Он плел своих экспромтов канитель.
Сырое утро ежилось и дрыхло,
Бросался ветер комьями в окно,
И воздух падал сбивчиво и рыхло
В Мариин новый отрывной блокнот.
Среди ее стихов осталась запись
Об этих днях, где почерк был иглист,
Как тернии, и ненависть, как ляпис,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Фонтаном клякс избороздила лист.
«Окно в лесах, и – две карикатуры,
Чтобы избегнуть даровых смотрин,
Мы занавесимся от штукатуров,
Но не уйдем из показных витрин.
Мы рано, может статься, углубимся
В неисследимый смысл добра и зла.
Но суть не в том. У жизни есть любимцы.
Мне кажется, мы не из их числа.
Теперь у нас пора импровизаций.
Когда же мы заговорим всерьез?
Когда, иссякнув, станем подвизаться
На поприще похороненных грез?
Исхода нет. Чем я зреей, тем боле
В мой обиход врывается земля
И гонит волю и берет безволие
Под кладбища, овраги и поля.
P.S. Все это требует проверки.
Не верю мыслям, – семь погод на дню.
В тот день, как вещи будут у Шиперки,
Я, вероятно, их переменю».

7

Конец пришел нечаянней и раньше,
Чем думалось. Что этот человек
Никак не Дон Жуан и не обманщик,
Сама Мария знала лучше всех.
Но было б легче от прямых уколов,
Чем от предполаганья наугад,
Несчастия, участки, протоколы?
Нет, нет, увольте. Жаль, что он не фат.
Бесило, что его домашний адрес
Ей неизвестен. Оставалось жить,
Рядиться в гнев и врать себе, не зазрясь,
Чтоб скрыть страданье в горделивой лжи.
И вот, лишь к горлу подступали клубья,
Она спешила утопить их груз
В оледенелом вопле самолюбья
И яростью перешибала грусть.
Три дня тоска, как призрак криволицый,
Уставясь вдаль, блуждала средь тюков.
Сергей Спекторский точно провалился.
Пошел в читальню, да и был таков.

А дело в том, что из библиотеки
На радостях он забежал к себе.
День был на редкость, шел он для потехи,
И что ж нашел он на дверной скобе?
Игра теней прохладной филигранью
Качала пачку писем. Адресат
Растерянно метнулся к телеграмме,
Врученной десять дней тому назад.
Он вытер пот. По смыслу этих литер,
Он – сирота, быть может. Он связал
Текущее и этот вызов в Питер
И вне себя помчался на вокзал.
Когда он уличил себя под Тверью
В заботах о Марии, то постиг,
Что значит мать, и в детском суеверьи
Шарахнулся от этих чувств простых.
Так он и не дал знать ей, потому что
С пути не смел, на месте ж – потому,
Что мать спасли, и он не видел нужды
Двух суток ради прибегать к письму.
Мать поправлялась. Через две недели,
Очухавшись в свистках, в дыму, в листве,
Он тер глаза. Кругом в плащах сидели.
Почтовый поезд подходил к Москве.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Многолошадный, буйный, голоштаный...
Скорей, скорей навстречу толкотне!
Скорей, скорее к двери долгожданной!
И кажется – да, да! Она в окне!
Скорей, скорей! Его приезд в секрете.
А вдруг, а вдруг?... О, что он натворил!
Тем и скорей через ступень на третью
По лестнице без видимых перил.
Клозеты, стружки, взрывы перебранки,
Рубанки, сурик, сальная пенька.
Пора б уж вон из войлока и дранки.
Но где же дверь? Назад из тупика!
Да полно, все ль еще он в коридоре?
Да нет, тут кухня! Печь, водопровод.
Ведь он у ней, и всюду пыль и море
Снесенных стен и брошенных работ!

8

Прошли года. Прошли дожди событий,
Прошли, мрача Юпитера чело.
Пойдешь сводить концы за чаепитьем, –
Их точно сто. Но только шесть прошло.
Прошло шесть лет, и, дрему поборовши,
Задвигались деревья, побурев.
Закопошились дворики в пороше.
Смел прусаков с сиденья табурет.
Сейчас мы руки углем замараем,
Вмуруем в камень самоварный дым,
И в рукопашной с медным самураем,
С кипящим солнцем в комнаты влетим.
Но самурай закован в серый панцирь.
К пустым сараям не протоптан след.
Пролеты комнат канули в пространство.
Зари не будет, в лавках чаю нет.
Тогда скорей на крышу дома слазим,
И вновь в роях недвижимых верениц
Москва с размаху кувыркнется наземь,
Как ящик из-под киевских яиц.
Испакощенный тес ее растащен.
Взамен оград какой-то чародей
Огородил дощатый шорох чащи
Живой стеной ночных очередей.
Кругом фураж, не дожранный морозом.
Застряв в бурана бледных челюстях,
Чернеют крупы палых паровозов
И лошадей, шарахнутых врасяг.
Пещерный век на пустырях щербатых
Понурыми фигурами проныр
Напоминает города в Карпатах:
Москва – войны прощальный сувенир.
Дырявя даль, и тут летали ядра,
Затем что воздух родины заклят,
И половина края – люди кадра,
И погибать без торгу – их уклад.
Затем что небо гневно вечерами,
Что распорядок штатский позабыт,
И должен рдеть хотя б в военной раме
Военной формы не носивший быт.
Теперь и тут некстати блещет скатерть
Зимы; и тут в разрушенный очаг,
Как наблюдатель на аэростате,
Косое солнце смотрит натошак.

Поэзия, не поступайся ширью.
Храни живую точность: точность тайн.
Не занимайся точками в пунктире
И зерен в мере хлеба не считай.
Недоуменьем меди орудийной
Стесни дыханье и спроси чтеца:

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Неужто, жив в охвате той картины,
Он верит в быль отдельного лица?
И, значит, место мне укажет, где бы,
Как манекен, не трогаясь никем,
Не стыло бы в те дни немое небо
В потоках крови и шато д'икем?
Оно не льнуло ни к каким Спекторским,
Не жаждало ничьих метаморфоз,
Куда бы их по рубрикам конторским
Позднейший бард и цензор ни отнес.
Оно росло стеклянною заставой
И с обреченных не спускало глаз
По вдохновенью, а не по уставу,
Что единицу побеждает класс.
Бывают дни: черно-лиловой шишкой
Над потасовкой вскочит небосвод,
И воздух тих по слишком буйной вспышке,
И сани трутся об его испод.
И в печках жгут скопившиеся письма,
И тучи хмуры и не ждут любви,
И все б сошло за сказку, не проснись мы
И оторопи мира не прерви.
Случается: отпыхав в признаньях,
Исходит снегом время в ноябре,
И день скользит украдкой, как изгнанник,
И этот день – пробел в календаре.
И в киновари ренского солнца
Дымится иней, как вино и хлеб,
И это дни побочного потомства
В жару и правде непрямым судьб.
Куда-то пряча эти предпочтенья,
Не знает век, на чем он спит, лентяй.
Садятся солнца, удлиняют тени,
Чем старше дни, тем больше этих тайн.
Вдруг крик какой-то девочки в чулане.
Дверь вдребезги, движенье, слезы, звон,
И двор в дыму подавленных желаний,
В босых ступнях несущихся знамен.
И та, что в фартук зарывала, мучась,
Дремучий стыд, теперь, осатанев,
Летит в пролом открытых преимуществ
На гребне бесконечных степеней.
Дни, миги, дни, и вдруг единым сдвигом
Событие исчезает за стеной
И кажется тебе оттуда игом
И ложью в мертвой корке ледяной.
Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети –
Дворы и бабы, галки и дрова.
И вот заря теряет стыд дочерний.
Разбив окно ударом каблука,
Она перелетает в руки черни
И на ее руках за облака.
За ней ныряет шиворот сыновний.
Ему тут оставаться не барыш.
И небосклон уходит всем становьем
Облитых снежной сывороткой крыш.
Ты одинок. И вновь беда стучится.
Ушедшими оставлен протокол,
Что ты и жизнь – странные вещицы,
А одинокость – это рококо.
Тогда ты в крик. Я вам не шут! насилье!
Я жил как вы. Но отзыв предрешен:
История не в том, что мы носили,
А в том, как нас пускали нагишом.

Не плакалась, а пела вьюга. Чуть не

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Как благовест к заутрене средь мги,
Раскатывались снеговые крутни,
И пели басом путников шаги.
Угольный дом скользил за дом угольный,
Откуда руки в поле простирал.
Там мучили, там сбрасывали в штольни,
Там измывался шахтами Урал.
Там ели хлеб, там гибли за бесценок,
Там белкою кидался в пихту кедр,
Там был зимы естественный застенок,
Валютный фонд обледенелых недр.
Там по горам кустились перелески,
Пристреливались, брали, жгли дотла,
И подбегали к женщине в черкеске,
Оглядывавшей эту ширь с седла.
Пред ней, за ней, обходом в тыл и с флангов,
Курясь ползла гражданская война,
И ты б узнал в наезднице беглянку,
Что бросилась из твоего окна.
По всей земле осипшим морем грусти,
Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
Марусе тихих русских захолуствий,
Поколебавшей землю в десять дней.
Не плакались, а пели снега крутни,
И жулики ныряли внутрь пурги
И укрывали ужасы и плутни
И утопавших путников шаги.
Как кратеры, дымились кольца вьюги,
И к каждому подкрадывался вихрь,
И переулки лопались с натуги,
И вьюга вновь заклепывала их.
Безвольные, по всей первопрестольной
Сугробами, с сугроба на сугроб,
Раскачивая в торбах колокольни,
Тащились цепи пешеходных троп.

9

В дни голода, когда вам слали на дом
Повестки и никто вас не щадил,
По старым сыромятниковским складам
С утра бродило несколько чудил.
То были литераторы. Союзу
Писателей доверили разбор
Обобщественной мебели и грузов
В сараях бывших транспортных контор.
Предвидя от кофейников до сабель
Все различия домашнего старья,
Определяла именная табель,
Какую вещь в какой комиссариат.
Их из необходимости пустили
К завалам Ступина и прочих фирм
И не ошиблись: честным простофилям
Служил мерилом римский децемвир.
Они гордились данным полномочьем.
Меж тем смеркалось. Между тем шел снег.
Предметы обихода шли рабочим,
А ценности и провиант – казне.
В те дни у сыромятницких окраин
Был полудеревенский аромат,
Пластался снег и, галками ограян,
Был только этим карканьем примят.
И, раменьем убрав огнем осенним
И пламенем – брусы оконных рам,
Закат бросался к полкам и храненьям
И как бы убывал по номерам.
В румяный дух реберчатого теса
Врывался визг отверток и клещей,
И люди были тверды, как утесы,
И лица были мертвы, как клише.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И лысы голоса. И близко-близко
Над ухом, а казалось – вдалеке,
Все спорили, как быть со штукой плиса,
И серебро ли ковш иль апплике.
Срезали пломбы на ушках шпагата,
И, мусора взрывая облака,
Прикатывали кладь по дубликату,
Кладовщика зовя издалека.
Отрыжкой отдуваясь от отмычек,
Под крышками вздувался старый хлам,
И давность потревоженных привычек
Морозом пробегала по телам.
Но даты на квитанциях стояли,
И лиц, из странствий не подавших весть,
От срока сдачи скарба отделяли
Год-два и редко-редко пять и шесть.
Дух путешествия казался старше,
Чем понимали старость до сих пор.
Дрожала кофт заржавленная саржа,
И гнулся лифов колкий коленкор.

Амбар, где шла разборка гардеробов,
Плыл наугад, куда глаза глядят.
Как волны в море, тропы и сугробы
Тянули к рвоте, притупляя взгляд.
Но было что-то в свойствах околотка,
Что обращалось к мысли, и хотя
Держало к ней, как высланная лодка,
Но гибло, до нее не доходя.
Недоставало, может быть, секунды,
Чтоб вытянуться и поймать буюк,
Но вновь и вновь, захлестнутая тундрой,
Душа тонула в темноте таег.
Как вдруг Спекторский обомлел и ахнул.
В глазах, уставших от чужих перин,
Блеснуло что-то яркое, как яхонт,
Он увидал Мариин лабиринт.
«А ну-ка, – быстро молвил он, – коллега,
Вот список. Жарьте по инвентарю.
А я... а я равнодушен к снегу:
Пробегаюсь чуть-чуть и покурю».
Был воздух тих, но если б веткой хрустнуть,
Он снежным вихрем бросился б в галоп,
Как эскимос, нависшей тучей сплуснут,
Был небосвод лиловый низколоб.
Был воздух тих, как в лодке китолова,
Затерянной в тисках плавучих гор.
Но если б хрустнуть веткою еловой,
Все б сдвинулось и понеслось в опор.
Он думал: «Где она – сейчас, сегодня?»
И слышал рядом: «Шелк. Чулки. Портвейн».
«Счастливей моего ли и свободней
Или поработанней и мертвей?»
Со склада доносилось: «Дальше. Дальше,
Под опись. В фонд. Под опись. В фонд. В подвал».
И монотонный голос, как гадалщик,
Все что-то клал и что-то называл.
Настала ночь. Сверхштатные ликурги
Закрыли склад. Гаданья голос стих.
Поднялся вихрь. Сережины окурки
Пошли кружиться на манер шутих.
Ему какие-то совали снимки.
Событья дня не шли из головы.
Он что-то отвечал и слышал в дымке:
«Да вы взгляните только. Это вы?
Нескромность? Обронили из альбома.
Опомнитесь: кому из нас на дно
Не строил рок подобного ж: любому

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Подсунул не знакомых, так родню». Мело, мело. Метель костры лизала, Пигмеев сбив гигантски у огня. Я жил тогда у Курского вокзала и тут-то наконец его нагнал. Я соблазнил его коробкой «Иры» и затащил к себе, причем – курьез: Он знал не хуже моего квартиру, Где кто-то под его присмотром рос. Он тут же мне назвал былых хозяев, Которых я тогда же и забыл. У нас был чад отчаянный. Оттаяв, Все морщилось, размокши до стропил. При самом входе, порою зря потратив, Он сразу облегчил свой патронташ и рассказал про двух каких-то братьев, Припутав к братьям наш шестой этаж. То были дни как раз таких коллизий. Один был учредиловец, другой – Красногвардеец первых тех дивизий, что бились под Сарептой и Уфой. Он был погублен чьею-то услугой. Тут чей-то замешался произвол, и кто-то вроде рока, вроде друга Его под пулю чешскую подвел... В квартиру нашу были, как в компотник, Набуханы продукты разных сфер: Швея, студент, ответственный работник, Певица и смирившийся эсер.

Я знал, что эта женщина к партийцу. Партиец приходился ей родней. Узнав, что он не скоро возвратится, Она уселась с книжкой в проходной. Она читала, заслонила копилку, Ложась на нас наплывом круглых плеч. Полпотолка срезала тень затылка. Нам надо было залу пересечь. Мы шли, как вдруг: «Спекторский, мы знакомы», – Высокомерно раздалось нам вслед, И, не готовый ни к чему такому, Я затесался третьим в t?te-?-t?te[4] . Бухтеева мой шеф по всей проформе, О чем тогда я не мечтал ничуть. Перескажу, что помню, попроворней, Тем более, что понял только суть. Я помню ночь, и помню друга в краске, И помню плоски утлый фитилек. Он изгибался, точно ход развязки Его по глади масла ветром влек. Мне бросилось в глаза, с какой фриволью, Невольный вздрог улыбкой погася, Она шутя обдернула револьвер И в этом жесте выразилась вся. Как явственней, чем полный вздох двурядки, Вздохнул у локтя кожаный рукав, А взгляд, косой, лукавый взгляд бурятки, Сказал без слов: «Мой друг, как ты плюгав!» Присутствие мое их не смутило. Я заперся, но мой дверной засов Лишь удешастил слепую силу Друг друга обгонявших голосов. Был разговор о свинстве мнимых сфинксов, О принципах и принцах, но весом Был только темный призыв материнства В презреньи, в ласке, в жалости, во всем. «Вы вспомнили рождественских застольцев?.. –

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Изламываясь радугой стыда,
Гремел вопрос. – Я дочь народовольцев.
Вы этого не поняли тогда?»
Он отвечал... «Но чтоб не быть уродкой, –
Рвалось в ответ, – ведь надо ж чем-то быть?»
И вслед за тем: «Я родом – патриотка.
Каким другим оружием вас добить?..»
Уже мне начинало что-то сниться
(Я, видно, спал), как зазвенел звонок.
Я выбежал, дрожа, открыть партийцу
И бросился назад что было ног.
Но я прозяб, согреться было нечем,
Постельное тепло я упустил.
И тут лишь вспомнил я о происшедшем.
Пока я спал, обоих след простыл.
1925 – 1930

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

1930 – 1932

ЛЕТО

Ирпень – это память о людях и лете,
О воле, о бегстве из-под кабалы,
О хвое на зное, о сером левкое
И смене безветрия, ведра и мглы.
О белой вербене, о терпком терпении
Смолы; о друзьях, для которых малы
Мои похвалы и мои восхваленья,
Мои словословья, мои похвалы.
Пронзительных иволог крик и явленье
Китайкой и углем желтило стволы,
Но сосны не двигали игол от лени
И белкам и дятлам сдавали углы.
Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка,
И балка у входа ютила удода,
И, детям в угоду, запечье – сверчка.
В дни съезда шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек хитрый манёвр
Сводил с полутьмою зажженный репейник,
С землю – саженные тени ирпенек
И с небом – пожар полосатых панёв.
Смеркалось, и, ставя простор на колени,
Загон горизонта смыкал полукруг.
Зарницы вздымали рога по-оленьи,
И с сена вставали и ели из рук
Подруг, по приходе домой, тем не мене
От жуликов дверь запиравших на крюк.
В конце, пред отъездом, ступая по кипе
Листвы облетелой в жару бредовом,
Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
Налет недомолвок сорвал рукавом.
И осень, дотоле вопившая выпью,
Прочистила горло; и поняли мы,
Что мы на пиру в вековом прототипе –
На пире Платона во время чумы.
Откуда же эта печаль, Диотима?
Каким увереньем прервать забытьё?
По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
Дверь настезь! За дружбу, спасенье мое!
И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игрою ей под руки лег
И арфой шумит ураган аравийский,
Бессмертья, быть может, последний залог.
1930

* * *

Годами когда-нибудь в зале концертной

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Мне Брамса сыграют, – тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.
Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой вздох,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.
Мне Брамса сыграют, – я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.
Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.
Мне Брамса сыграют, – я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.
И сразу же буду слезами увлажен
И вымокну раньше, чем выплачусь я.
Горючая давность ударит из скважин,
Околицы, лица, друзья и семья.
И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.
1931

СМЕРТЬ ПОЭТА

Не верили, – считали, – бредни,
Но узнавали: от двоих,
Троих, от всех. Равнялись в строку
Остановившегося срока
Дома чиновниц и купчих,
Дворы, деревья, и на них
Грачи, в чаду от солнцепека
Разгоряченно на грачих
Кричавшие, чтобы дуры впредь не
Совались в грех. И как наемни
Был день. Как час назад. Как миг
Назад. Соседний двор, соседний
Забор, деревья, шум грачих.
Лишь был на лицах влажный сдвиг,
Как в складках порванного бредня.
Был день, безвредный день, безвредней
Десятка прежних дней твоих.
Толпились, выстроясь в передней,
Как выстрел выстроил бы их.
Как, сплыв, выплеснул из стока б
Лещей и щуку минный вспых
Шутих, заложенных в осоку.
Как вздох пластов нехолостых.
Ты спал, постлав постель на сплетне,
Спал и, оттрепетав, был тих, –
Красивый, двадцатидвухлетний,
Как предсказал твой тетраптих.
Ты спал, прижав к подушке щеку,
Спал, – со всех ног, со всех лодыг
Врезаясь вновь и вновь с наскоку
В разряд преданий молодых.
Ты в них врезался тем заметней,
Что их одним прыжком достиг.
Твой выстрел был подобен этне
В предгорьях трусов и трусих.
Друзья же изощрялись в спорах,
Забыв, что рядом – жизнь и я.
Ну что ж еще? Что ты припер их

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
К стене, и стер с земли, и страх
Твой порох выдает за прах?
Но мрази только он и дорог.
На то и рассуждений ворох,
Чтоб не бежала за края
Большого случая струя,
Чрезмерно скорая для хворых.
Так пошлость свертывает в творог
Седые сливки бытия.
1930

* * *

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.
Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз, –
Обоюдный обман обрубаем.
Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.
Надорви ж его ширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.
И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подсласткой.
Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлю дома.
Как росток на свету распрямясь,
Ты посмотришь на все по-другому.
1931

* * *

Окно, пюпитр и, как овраги эхом, –
Полны ковры всем играным. В них есть
Невысказанность. Здесь могло с успехом
Сквозь исполнение авторство процвести.
Окно не на две створки *alla breve*[5],
Но шире, – на три: в ритме трех вторых.
Окно и двор, и белые деревья,
И снег, и ветки, – свечи пятерик.
Окно, и ночь, и пульсом бьющий иней
В ветвях, – в узлах височных жил. Окно,
И синий лес висячих нотных линий,
И двор. Здесь жил мой друг. Давно-давно
Смотрел отсюда я за круг Сибири,
Но друг и сам был городом, как Омск
И Томск, – был кругом войн и перемирий
И кругом свойств, занятий и знакомств.
И часто-часто, ночь о нем продумав,
Я утра ждал у трех оконных створ.
И муторным концертом мертвых шумов
Копался в мерзлых внутренностях двор.
И мерил я полуторною мерой
Судьбы и жизни нашей недомер,
В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой
Большого неба ветренный пример.
1931

* * *

Любить иных – тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильен.
Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь.
Все это – не большая хитрость.
* * *

Любимая, молвы слащавой,
Как угля, вездесуща гарь.
А ты – подспудной тайной славы
Засасывающий словарь.
А слава – почвенная тяга.
О, если б я прямой возник!
Но пусть и так, – не как бродяга,
Родным войду в родной язык.
Теперь не сверстники поэтов,
Вся ширь проселков, меж и лех
Рифмует с Лермонтовым лето
И с Пушкиным гусей и снег.
И я б хотел, чтоб после смерти,
Как мы замкнемся и уйдем,
Тесней, чем сердце и предсердье,
Зарифмовали нас вдвоем.
Чтоб мы согласья сочетаньем
Застлали слух кому-нибудь
Всем тем, что сами пьем и тянем
И будем ртами трав тянуть.
1931

* * *
Кругом семенящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллея,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.
А в комнате пахнет, как ночью
Болотной фиалкой. Бока
Опущенной шторы морочат
Доверье ночного цветка.
В квартире прохлада усадьбы.
Не жертвуя ей для бесед,
В разлуке с тобой и писать бы,
Внося пополненья в бюджет.
Но грусть одиноких мелодий
Как участь бульварных семян,
Как спущенной шторы бесплодье,
Вводящее фиалку в обман.
Ты стала настолько мне жизнью,
Что все, что не к делу, – долой,
И вымыслов пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой.
И вот я вникаю на ощупь
В доподлинной повести тьму.
Зимой мы расширим жилплощадь,
Я комнату брата займу.
В ней шум уплотнителей глуше,
И слушаться будет жадней,
Как битыми днями баклуши
Бьют зимние тучи над ней.
1931

* * *
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Незадернутых гардин.
Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, – никого.
И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной,
И опять кольнут донине
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавтит голод дровяной.
Но нежданно по портьеру
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.
Ты появишься у двери
В чем-то белом, без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопья шьют.
1931

* * *

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающей раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагве, сдавленной горами,
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья,
Пока я голову заламываю,
Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!
Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеешься ты, Казбек?
Когда от высей сердце ёкает
И гор колышутся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила.
И там, у Альп в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь, – ты оплошала?
Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.
1931

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью – убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
От шуток с этой подоплекой

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.
Но старость – это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.
Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.
1932

* * *

Столетье с лишним – не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличие от хлыща
В его существованьи кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
И тот же тотчас же тупик
При встрече с умственной ленью,
И те же выписки из книг,
И тех же эр сопоставленья.
Но лишь сейчас сказать пора,
Величьем дня сравненья разня:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Итак, вперед, не трепеща
И утешаясь параллелью,
Пока ты жив, и не моща,
И о тебе не пожалели.
1931

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

1936 – 1944

ХУДОЖНИК

Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.
Но всем известен этот облик.
Он миг для прятков прозевал.
Назад не повернуть оглобли,
Хотя б и затаясь в подвал.
Судьбы под землю не заямить.
Как быть? Неясная сперва,
При жизни переходит в память
Его признавшая молва.
Но кто ж он? На какой арене
Стяжал он поздний опыт свой?
С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой.
Как поселенье на Гольфштреме,
Он создан весь земным теплом.
В его залив вкатило время
Все, что ушло за волнолом.
Он жаждал воли и покоя,
А годы шли примерно так,
Как облака над мастерскою,
Где горбился его верстак.
Еловый бурелом,
Обрыв тропы овечьей.
Нас много за столом,
Приборы, звезды, свечи.
Как пылкий дифирамб,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Все затмевая оптом,
Огнем садовых ламп
Тицьян Табидзе обдан.
Сейчас он речь начнет
И мыслью – на прицеле.
Он слово почерпнет
Из этого ущелья.
Он курит, подперев
Рукою подбородок,
Он строг, как барельеф,
И чист, как самородок.
Он плотен, он шатен,
Он смертен, и, однако,
Таким, как он, Роден
Изобразил Бальзака.
Он в глыбе поселен,
Чтоб в тысяче градаций
Из каменных пелен
Все явственней рождаться.
Свой непомерный дар
Едва, как свечку, тепля,
Он – пира перегар
В рассветном сером пепле.
лето 1936

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
У нас весной до зари
Костры на огороде, –
языческие алтари
На пире плодородья.
Перегорают целина
И парит спозаранку,
И вся земля раскалена,
Как жаркая лежанка.
Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.
Я стану, где сильнее припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною лазурью.
А ночь войдет в мой мезонин
И, высунувшись в сени,
Меня наполнит, как кувшин,
Водой и сиренью.
Она отмоет верхний слой
С похолодевших стенок
И даст какой-нибудь одной
Из здешних уроженок.
И распутившийся побег
Потянется к свободе,
Устраиваясь на ночлег
На крашеном комоде.
1940, 1942

СОСНЫ
В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.
Трава на просеке сосновой
Непроходима и густа.
Мы переглянемся – и снова
Меняем позы и места.
И вот, бессмертные на время,
Мы к лику сосен причтены
И от болей и эпидемий

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И смерти освобождены.
С намеренным однообразием,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава.
Мы делим отдых краснолесья,
Под копошенья мураша
Сосновую снотворной смесью
Лимона с ладаном дыша.
И так неистовы на синем
Разбеги огненных стволов,
И мы так долго рук не вынем
Из-под заломленных голов,
И столько широты во взоре,
И так покорно все извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится все время мне.
Там волны выше этих веток,
И, сваливаясь с валуна,
Обрушивают град креветок
Со взбаламученного дна.
А вечерами за буксиром
На пробках тянется заря
И отливает рыбьим жиром
И мгlistой дымкой янтаря.
Смеркается, и постепенно
Луна хоронит все следы
Под белой магиею пены
И черной магией воды.
А волны все шумней и выше,
И публика на поплавке
Толпится у столба с афишей,
Не различимой вдалеке.
1941

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Корыта и ушаты,
Нескладица с утра,
Дождливые закаты,
Сырые вечера.
Проглоченные слезы
Во вздохах темноты,
И зовы паровоза
С шестнадцатой версты.
И ранние потемки
В саду и на дворе,
И мелкие поломки,
И всё как в сентябре.
А днем простор осенний
Пронизывает вой
Тоскою голошенья
С погоста за рекой.
Когда рыданье вдовье
Относит за бугор,
Я с нею всю кровью
И вижу смерть в упор.
Я вижу из передней
В окно, как всякий год,
Своей поры последней
Отсроченный приход.
Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.
1941

ОПЯТЬ ВЕСНА
Поезд ушел. насыпь черна.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг – что за новая, право, причуда:
Сутолка, кумушек пересуды.
Что их попутал за сатана?
Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнава, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.
Это она, это она,
Это ее чародейство и диво,
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.
Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрине,
Лампой висячего водопада
В круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья – бред бытия.
1941

ИНЕЙ

Глухая пора листопада.
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.
Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.
Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.
Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопухий
Шутом маскарадным одет.
Все обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомарой
Подсматривает с ветвей.
Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.
За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.
Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.
И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».
1941

ВАЛЬС С ЧЕРТОВЩИНОЙ

Только заслышу польку вдали,
Кажется, вижу в замочную скважину:
Лампы задули, сдвинули стулья,
Пчелками кверху порх фитили,
Масок и ряженных движется улей.
Это за щелкой елку зажгли.
Великолепие выше сил
Туши, и сепии, и белил,
Синих, пунцовых и золотых
Львов и танцоров, львиц и франтих.
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей,
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.
В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.
Все разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает дотла. Мгла.
Мало-помалу толпою усталой
Гости выходят из-за стола.
Шали, и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занестишь!
Ставни, ворота и дверь на крюки.
В верхнюю комнату форточку настеть.
Улицы зимней синий испуг.
Время пред третьими петухами.
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя,
Свечка за свечкой явственно вслух:
Фук. фук. фук. фук.
1941

ВАЛЬС СО СЛЕЗОЙ

Как я люблю ее в первые дни
Только что из лесу или с метели!
Ветки неловкости не одолели.
Нитки ленивые, без суетни
Медленно переливая на теле,
Виснут серебряною канителью.
Пень под глухой пеленой простыни.
Озолотите ее, осчастливьте, –
И не смигнет, но стыдливая скромница
В фольге лиловой и синей финифти
Вам до скончания века запомнится.
Как я люблю ее в первые дни,
Всю в паутине или в тени!
Только в примерке звезды и флаги,
И в бонбоньерки не клали малаги.
Свечки не свечки, даже они
Штифтики грима, а не огни.
Это волнующая актриса
С самыми близкими в день бенефиса.
Как я люблю ее в первые дни
Перед кулисами в кучке родни!
Яблоне – яблоки, елочке – шишки.
Только не этой. Эта в покое.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Эта совсем не такого покроя.
Эта – отмеченная избранница.
Вечер ее вековечно протянется.
Этой нимало не страшно пословицы.
Ей небывалая участь готовится:
В золоте яблок, как к небу пророк,
Огненной гостью взмыть в потолок.
Как я люблю ее в первые дни,
Когда о елке толки одни!
1941

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ
Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.
Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною темью
Свои скрипучие шаги.
Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.
Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шел на шесть двадцать пять.
Вдруг света хитрые морщины
Сбивались щупальцами в круг.
Прожектор неся всей машиной
На оглушенный виадук.
В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.
Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.
Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.
В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господя.
Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.
Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.
Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.
1941

СТАРЫЙ ПАРК
Мальчик маленький в кровати,
Бури озверелый рев.
Каркающих стай девятки
Разлетаются с дерев.
Раненому врач в халате

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Промывал вчерашний шов.
Вдруг больной узнал в палате
Друга детства, дом отцов.
Вновь он в этом старом парке.
Заморозки по утрам,
И когда кладут припарки,
Плачут стекла первых рам.
Голос нынешнего века
И виденья той поры
Уживаются с опекой
Терпеливой медсестры.
По палате ходят люди.
Слышно хлопанье дверей.
Глухо ухают орудья
Заозерных батарей.
Солнце низкое садится.
Вот оно в затон впилося
И оттуда длинной спицей
Протыкает даль насквозь.
И минуты две оттуда
В выбоины на дворе
Льются волны изумруда,
Как в волшебном фонаре.
Зверской боли крепнут схватки,
Крепнет ветер, озверев,
И летят грачей девятки,
Черные девятки трэф.
Вихрь качает липы, скрючив,
Буря гнет их на корню,
И больной под стоны сучьев
Забывает про ступню.
Парк преданьями состарен.
Здесь стоял Наполеон
И славянофил Самарин
Послужил и погребен.
Здесь потомок декабриста,
Правнук русских героинь,
Бил ворон из монтекристо
И одолевал латынь.
Если только хватит силы,
Он, как дед, энтузиаст,
Прадеда-славянофила
Пересмотрит и издаст.
Сам же он напишет пьесу,
Вдохновенную войной, –
Под немолчный ропот леса,
Лёжа, думает больной.
Там он жизни небывалой
Невообразимый ход
Языком провинциала
В строй и ясность приведет.
1941

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
Хмуρο тянется день непогожий.
Безутешно струятся ручьи
По крыльцу перед дверью прихожей
И в открытые окна мои.
За оградю вдоль по дороге
Затопляет общественный сад.
Развалившись, как звери в берлоге,
Облака в беспорядке лежат.
Мне в ненастьи мерещится книга
О земле и ее красоте.
Я рисую лесную шишигу
Для тебя на заглавном листе.
Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.
Торжество твоего переноса
Я задумывал в прошлом году
Над снегами пустынного плеса,
Где зимуют баркасы во льду.

Мне так же трудно до сих пор
Вообразить тебя умершей,
Как скопидомкой миллионершей
Средь голодающих сестер.
Что сделать мне тебе в угоду?
Дай как-нибудь об этом весть.
В молчаньи твоего ухода
Упрек невысказанный есть.
Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет.
Тут всё – полуслова и тени,
Обмолвки и самообман,
И только верой в воскресенье
Какой-то указатель дан.
Зима – как пышные поминки:
Наружу выйти из жилья,
Прибавить к сумеркам коринки,
Облить вином – вот и кутья.
Пред домом яблоня в сугробе.
И город в снежной пелене –
Твое огромное надгробье,
Как целый год казалось мне.
Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.
1943

ЗИМА ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Зима приближается. Сызнова
Какой-нибудь угол медвежий
По прихоти неба капризного
Исчезнет в грязи непроезжей.
Домишки в озерах очутятся.
Над ними закурятся трубы.
В холодных объятьях распутицы
Сойдутся к огню жизнелюбы.
Обитатели севера строгого,
Накрытые ночью, как крышей,
На вас, захолустные логова,
Написано: «Сим победиши».
Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.
Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Россия волшебною книгою
Как бы на середке открыта.
И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.
Октябрь серебристо-ореховый,
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.
Октябрь 1943

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

В НИЗОВЬЯХ
Илистых плавней желтый янтарь,
Блеск чернозема.
Жители чинят снасть, инвентарь,
Лодки, паромы.
В ЭТИХ НИЗОВЬЯХ ночи – восторг,
Светлые зори.
Пеной по отмели шорх-шорх
Черное море.
Птица в болотах, по рекам – налим,
Уймища раков.
В том направлении берегом – Крым,
В этом – Очаков.
За Николаевом книзу – лиман.
Вдоль поднебесья
Степью на запад – зыбь и туман.
Это к Одессе.
Было ли это? Какой это стиль?
Где эти годы?
Можно ль вернуть эту жизнь, эту быль,
Эту свободу?
Ах, как скучает по пахоте плуг,
Пашня – по плугу,
Море – по Бугу, по северу – юг,
Все – друг по другу!
Миг долгожданный уже на виду,
За поворотом.
Дали предчувствует. В этом году –
Слово за флотом.
1944

ОЖИВШАЯ ФРЕСКА
Как прежде, падали снаряды.
Высокое, как в дальнем плаваньи,
Ночное небо Сталинграда
Качалось в штукатурном саване.
Земля гудела, как молебен
Об отвращеньи бомбы воющей,
Кадилаицею дым и щебень
Выбрасывая из побоища.
Когда урывками, меж схваток,
Он под огнем своих проводывал,
Необъяснимый отпечаток
Привычности его преследовал.
Где мог он видеть этот ежик
Домов с бездонными проломами?
Свидетельства былых бомбежек
Казались сказочно знакомыми.
Что означала в черной раме
Четырехпалая отметина?
Кого напоминало пламя
И выломанные паркетины?
И вдруг он вспомнил детство, детство,
И монастырский сад, и грешников,
И с общиною по соседству
Свист соловьев и пересмешников.
Он мать сжимал рукой сыновней,
И от копья архистратига ли
На темной росписи часовни
В такие ямы черти прыгали.
И мальчик облекался в латы,
За мать в воображеньи ратуя,
И налетал на супостата
С такой же свастикой хвостатю.
А дальше в конном поединке
Сиял над змеем лик Георгия.
И на пруду цвели кувшинки,
И птиц безумствовали оргии.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И родина, как голос пуши,
Как зов в лесу и грохот отзыва,
Манила музыкой зовущей
И пахла почкою березовой.
О, как он вспомнил те полянки
Теперь, когда своей погонею
Он топчет вражеские танки
С их грозной чешуей драконьей!
Он перешел земли границы,
И будущность, как ширь небесная,
Уже бушует, а не снится,
Приблизившаяся, чудесная.
Из книги «ДОКТОР ЖИВАГО»
1946 – 1953

ГАМЛЕТ

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь пройти – не поле перейти.
1946

МАРТ

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа,
Дело у весны кипит в руках.
Чахнет снег и болен малокровьем
В веточках бессильно синих жил.
Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
И здоровьем пышут зыбья вил.
Эти ночи, эти дни и ночи!
Дробь капелей к середине дня,
Кровельных сосулек худосочье,
Ручейков бессонных болтовня!
Настежь всё, конюшня и коровник,
Голуби в снегу клюют овес,
И всего живитель и виновник, –
Пахнет свежим воздухом навоз.
1946

НА СТРАСТНОЙ

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая, как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри.
Еще кругом ночная мгла.
Такая рань на свете,
Что площадь вечностью легла
От перекрестка до угла,
И до рассвета и тепла
Еще тысячелетье.
Еще земля голым-гола,
И ей ночами не в чем

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Раскачивать колокола
И вторить с воли певчим.
И со Страстного четверга
Вплоть до Страстной субботы
Вода буравит берега
И вьет водовороты.
И лес раздет и не покрыт,
И на Страстях Христовых,
Как строй молящихся, стоит
Толпой стволов сосновых.
А в городе, на небольшом
Пространстве, как на сходке,
Деревья смотрят нагишом
В церковные решетки.
И взгляд их ужасом объят.
Понятна их тревога.
Сады выходят из оград,
колеблется земли уклад:
Они хоронят Бога.
И видят свет у царских врат,
И черный плат, и свечек ряд,
Заплаканные лица –
И вдруг навстречу крестный ход
Выходит с плащаницей,
И две березы у ворот
Должны посторониться.
И шествие обходит двор
По краю тротуара,
И вносит с улицы в притвор
Весну, весенний разговор
И воздух с привкусом просфор
И вешнего угара.
И март разбрасывает снег
На паперти толпе калек,
Как будто вышел человек,
И вынес, и открыл ковчег,
И все до нитки роздал.
И пенье длится до зари,
И, нарыдавшись вдосталь,
Доходят тише изнутри
На пустыри под фонари
Псалтырь или Апостол.
Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь,
Смерть можно будет побороть
Усильем воскресенья.
1946

ОБЪЯСНЕНИЕ

Жизнь вернулась так же беспричинно,
Как когда-то странно прервалась.
Я на той же улице старинной,
Как тогда, в тот летний день и час.
Те же люди и заботы те же,
И пожар заката не остыл.
Как его тогда к стене Манежа
Вечер смерти наспех пригвоздил.
Женщины в дешевом затрапезе
Так же ночью топчут башмаки.
Их потом на кровельном железе
Так же распинают чердаки.
Вот одна походкою усталой
Медленно выходит на порог
И, поднявшись из полуподвала,
Переходит двор наискосок.
Я опять готовлю отговорки,
И опять все безразлично мне.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И соседка, обогнув задворки,
Оставляет нас наедине.

Не плачь, не морщь опухших губ,
Не собирай их в складки.
Разбередишь присохший струп
Весенней лихорадки.
Сними ладонь с моей груди,
Мы провода под током,
Друг к другу вновь, того гляди,
Нас бросит ненароком.
Пройдут года, ты вступишь в брак,
Забудешь неустройства.
Быть женщиной – великий шаг,
Сводить с ума – геройство.
А я пред чудом женских рук,
Спины, и плеч, и шеи
И так с привязанностью слуг
Весь век благоговею.
Но как ни сковывает ночь
Меня кольцом тоскливым,
Сильней на свете тяга прочь
И манит страсть к разрывам.
1947

ВЕТЕР

Я кончился, а ты жива.
И ветер, жалуясь и плача,
Раскачивает лес и дачу.
Не каждую сосну отдельно,
А полностью все дерева
Со всю далью беспредельной,
Как парусников кузова
На глади бухты корабельной.
И это не из удалства
Или из ярости бесцельной,
А чтоб в тоске найти слова
Тебе для песни колыбельной.
1953

ХМЕЛЬ

Под ракитой, обвитой плющом,
От ненастья мы ищем защиты.
Наши плечи покрыты плющом,
Вкруг тебя мои руки обвиты.
Я ошибся. Кусты этих чащ
Не плющом перевиты, а хмелем.
Ну так лучше давай этот плащ
В ширину под собою расстелем.
1953

БАБЬЕ ЛЕТО

Лист смородины груб и матерчат.
В доме хохот и стекла звенят,
В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
И гвоздики кладут в маринад.
Лес разбрасывает, как насмешник,
Этот шум на обрывистый склон,
Где сгоревший на солнце орешник
Словно жаром костра опален.
Здесь дорога спускается в балку,
Здесь и высохших старых коряг,
И лоскутницы осени жалко,
Все сметающей в этот овраг.
И того, что вселенная проще,
Чем иной полагает хитрец,
Что как в воду опущена роца,
Что приходит всему свой конец.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Что глазами бессмысленно хлопать,
Когда все пред тобой сожжено,
И осенняя белая копоть
Паутиною тянет в окно.
Ход из сада в заборе проломан
И теряется в березняке.
В доме смех и хозяйственный гомон,
Тот же гомон и смех вдалеке.
1946

ОСЕНЬ

Я дал разъехаться домашним,
Все близкие давно в разброде,
И одиночеством вчерашним
Полно все в сердце и природе.
И вот я здесь с тобой в сторожке,
В лесу безлюдно и пустынно.
Как в песне, стежки и дорожки
Позаросли наполовину.
Теперь на нас одних с печалью
Глядят бревенчатые стены.
Мы брать преград не обещали,
Мы будем гибнуть откровенно.
Мы сядем в час и встанем в третьем,
Я с книгою, ты с вышиваньем,
И на рассвете не заметим,
Как целоваться перестанем.
Еще пышней и бесшабашней
Шумите, осыпайтесь, листья,
И чашу горечи вчерашней
Сегодняшней тоской превысьте.
Привязанность, влечение, прелесть!
Рассеемся в сентябрьском шуме!
Заройся вся в осенний шелест!
Замри или ополоумей!
Ты так же сбрасываешь платье,
Как роща сбрасывает листья,
Когда ты падаешь в объятье
В халате с шелковой кистью.
Ты – благо гибельного шага,
Когда житье тошней недуга,
А корень красоты – отвага,
И это тянет нас друг к другу.
1949

АВГУСТ

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по-старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.
С притихшими его вершинами
Сосеждествовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.
В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.
Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, не тронутый распадом:
«Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство». 1953

СВИДАНИЕ

Засыпет снег дороги,
Завалит скаты крыш.
Пойду размять я ноги:
За дверью ты стоишь.
Одна в пальто осеннем,
Без шляпы, без калош,
Ты борешься с волненьем
И мокрый снег жуешь.
Деревья и ограды
Уходят вдаль, во мглу.
Одна средь снегопада
Стоишь ты на углу.
Течет вода с косынки
За рукава в обшлаг,
И каплями росинки
Сверкают в волосах.
И прядью белокурой
Озарены: лицо,
Косынка и фигура
И это пальтецо.
Снег на ресницах влажен,
В твоих глазах тоска,
И весь твой облик слажен
Из одного куска.
Как будто бы железом,
Обмакнутым в сурьму,
Тебя вели нарезом
По сердцу моему.
И в нем навек засело
Смиренье этих черт,
И оттого нет дела,
Что свет жестокосерд.
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
А нас на свете нет?
1949

ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.
Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол.
И воск слезами с ночника
На платье капал. И все терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На свечку дуло из угла,
И жар соблазна
Вздымал, как ангел, два крыла
Крестообразно.
Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
1946

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями теплая дымка плыла.
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.
А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плоски
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.
Она возвышалась горячей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

И три звездочета
Спешили на зов небывалых огней.
За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали все пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Все будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы,
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Все великолепье цветной мишуры...
...Все злей и свирепей дул ветер из степи...
...Все яблоки, все золотые шары.
Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
– Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, –
Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листьями слюды
Вели за хибарку босые следы.
На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримо делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
– А кто вы такие? – спросила Мария.
– Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоим хвалы.
– Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.
Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звезды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстие скалы.
Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленьи дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
1947

ЧУДО

Он шел из Вифании в Ерусалим,
Заранее грустью предчувствий томим.
Колючий кустарник на круче был выжжен,
Над хижиной ближней не двигался дым,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Был воздух горяч, и камыш неподвижен,
И мертвого моря покой недвижим.
И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на сборище учеников.
И так углубился он в мысли свои,
Что поле в уныньи запахло полынью.
Все стихло. Один он стоял посредине,
А местность лежала пластом в забытьи.
Все перемешалось: теплынь и пустыня,
И ящерицы, и ключи, и ручьи.
Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И он ей сказал: «Для какой ты корысти?
Какая мне радость в твоём столбняке?
Я жажду и алчу, а ты – пустоцвет,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».
По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило до тла.
Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох.

1947

ЗЕМЛЯ

В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.
По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.
И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.
И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори,
И тянут эту канитель.
И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой,
И тех же верб сквозные прутья,
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутьи,
На улице и в мастерской.
Зачем же плачет даль в тумане,
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И наши вечера – прощанья,
Пирушки наши – завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия.
1947

ДУРНЫЕ ДНИ
Когда на последней неделе
Входил он в Иерусалим,
Осанны навстречу гремели,
Бежали с ветвями за ним.
А дни все грозней и суровой,
Любовью не тронуть сердец.
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.
Свинцовую тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улики фарисеи,
Юля перед ним, как лиса.
И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славили прежде, клянут.
Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданьи развязки
И тыкались взад и вперед.
И полз шепоток по соседству,
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.
Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнял сатана.
И брачное пиршество в кане,
И чуду дивящийся стол,
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суху, шел.
И сборище бедных в лачуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскрешенный вставал...
1949

РАССВЕТ
Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о тебе
Ни слуху не было, ни духу.
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я твой завет
И как от обморока ожил.
Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнести в щепу
И всех поставить на колени.
И я по лестнице бегу,
Как будто выхожу впервые
На эти улицы в снегу
И вымершие мостовые.
Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В течение нескольких минут
Вид города неузнаваем.
В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

И, чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.
Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.
Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы.
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.
1947

МАГДАЛИНА

I
Чуть ночь, мой демон тут как тут,
За прошлое моя расплата.
Придут и сердце мне сосут
Воспоминания разврата,
Когда, раба мужских причуд,
Была я душой бесноватой
И улицей был мой приют.
Осталось несколько минут,
И тишь наступит гробовая.
Но раньше чем они пройдут,
Я жизнь свою, дойдя до края,
Как алавастровый сосуд,
Перед тобою разбиваю.
О, где бы я теперь была,
Учитель мой и мой Спаситель,
Когда б ночами у стола
Меня бы вечность не ждала,
Как новый, в сети ремесла
Мной завлеченный посетитель.
Но объясни, что значит грех,
И смерть, и ад, и пламень серный,
Когда я на глазах у всех
С тобой, как с деревом побег,
Срослась в своей тоске безмерной.
Когда твои стопы, Исус,
Оперши о свои колени,
Я, может, обнимать учусь
Креста четырехгранный брус
И, чувств лишаясь, к телу рвусь,
Тебя готовя к погребенью.
1949

МАГДАЛИНА

II
У людей пред праздником уборка,
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые Твои.
Шарю и не нахожу сандалий.
Ничего не вижу из-за слез.
На глаза мне пеленой упали
Пряди распустившихся волос.
Ноги я Твои в подол упрела,
Их слезами облила, Исус,
Ниткой бус их обмотала с горла,
В волосы зарыла, как в бурнус.
Будущее вижу так подробно,
Словно ты его остановил.
Я сейчас предсказывать способна
Вещим ясновиденьем сивилл.
Завтра упадет завеса в храме,
Мы в кружок собьемся в стороне,
И земля качнется под ногами,
Может быть, из жалости ко мне.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Перестроятся ряды конвоя,
И начнется всадников разъезд.
Словно в бурю смерч, над головою
Будет к небу рваться этот крест.
Брошусь на землю у ног распятыя,
Обомру и закушу уста.
Слишком многим руки для объятья
Ты раскинешь по концам креста.
Для кого на свете столько шири,
Столько муки и такая мощь?
Есть ли столько душ и жизней в мире?
Столько поселений, рек и роц?
Но пройдут такие трое суток
И столкнут в такую пустоту,
Что за этот страшный промежуток
Я до Воскресенья дорасту.
1949

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.
Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со мной».
Он отказался без сопротивления,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.
Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.
И глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом он молил отца.
Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.
Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».
И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди – Иуда
С предательским лобзаньем на устах.
Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.
Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы мне сюда?
И, волоска тогда на мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.
Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.
Ты видишь, ход веков подобен притче

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко мне на суд, как баржи каравана,
Столетия поплывут из темноты».
КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ
1956 – 1959
Un livre est un grand cimeti?re

o? sur la plupart des tombes on ne
peut plus lire les noms effac?s.

Marcel Proust[6]

* * *

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.
Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.
Я б разбивал стихи, как сад,
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука –
Натянутая тетива
Тугого лука.
1956

* * *

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь.
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.
1956

ДУША
Душа моя, печальница
О всех в кругу моем!
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем.
Тела их бальзамируя,
Им посвящая стих,
Рыдающе лирою
Оплакивая их,
Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урною,
Покоящей их прах.
Их муки совокупные
Тебя склонили ниц.
Ты пахнешь пылью трупною
Мертвецких и гробниц.
Душа моя, скудельница,
Все виденное здесь,
Перемолов, как мельница,
Ты превратила в смесь.
И дальше перемалывай
Все бывшее со мной,
Как сорок лет без малого
В погостный перегной.
1956

ПЕРЕМЕНА
Я льнул когда-то к беднякам –
Не из возвышенного взгляда,
А потому, что только там
Шла жизнь без помпы и парада.
Хотя я с барством был знаком
И с публикою деликатной,
Я дармоедству был врагом
И другом голи перекастной.
И я старался дружбу свести
С людьми из трудового звания,
За что и делали мне честь,
Меня считая тоже рванью.
Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.
И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.
Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже не верен.
Я человека потерял,
С тех пор как всеми я потерян.
1956

ВЕСНА В ЛЕСУ
Отчаянные холода
Задерживают таянье.
Весна позднее, чем всегда,
Но и зато нечаянней.
С утра амурился петух,
И нет прохода курице.
Лицом поворотясь на юг,
Сосна на солнце жмурится.
Хотя и парит и печет,
Еще недели целые
Дороги сковывает лед
Кору почернелюю.
В лесу еловый мусор, хлам,
И снегом все завалено.
Водю с солнцем пополам
Затоплены проталины.
И небо в тучах, как в пуху,
Над грязной вешней жижицей
Застряло в сучьях наверху
И от жары не движется.
1956

ТИШИНА
Пронизан солнцем лес насквозь.
Лучи стоят столбами пыли.
Отсюда, уверяют, лось
Выходит на дорог развилье.
В лесу молчанье, тишина,
Как будто жизнь в глухой лощине
Не солнцем заморожена,
А по совсем другой причине.
Действительно, невдалеке
Средь заросли стоит лосиха.
Пред ней деревья в столбняке.
Вот отчего в лесу так тихо.
Лосиха ест лесной подсед,
Хрустя обглаживает молодь.
Задевши за ее хребет,
Болтается на ветке желудь.
Иван-да-марья, зверобой,
Ромашка, иван-чай, татарник,
Опутанные ворожкой,
Глазеют, обступив кустарник.
Во всем лесу один ручей
В овраге, полном благозвучья,
Твердит то тише, то звончей
Про этот небывалый случай.
Звеня на всю лесную падь
И оглашая лесосеку,
Он что-то хочет рассказать
Почти словами человека.
1957

СТОГА
Снуют пунцовые стрекозы,
Летят шмели во все концы.
Колхозницы смеются с возу,
Проходят с косами косцы.
Пока хорошая погода,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Гребут и ворошат корма
И складывают до захода
В стога, величиной с дома.
Стог принимает на закате
Вид постоянного двора,
Где ночь ложится на полати
В накошенные клевера.
К утру, когда потемки реже,
Стог высится, как сеновал,
В котором месяц мимоезжий,
Зарывшись, переночевал.
Чем свет телега за телегой
Лугами катятся впотьмах.
Наставший день встает с ночега
С трухой и сеном в волосах.
А в полдень вновь синеют выси,
Опять стога как облака,
Опять, как водка на анисе,
Земля душиста и крепка.
1957

ЛИПОВАЯ АЛЛЕЯ

Ворота с полукруглой аркой.
Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде – мрак и холод парка
И дом невиданной красы.
Там липы в несколько обхватов
Справляют в сумраке аллей,
Вершины друг за друга спрятав,
Свой двухсотлетний юбилей.
Они смыкают сверху своды.
Внизу – лужайка и цветник,
Который правильные ходы
Пересекают напрямик.
Под липами, как в подземельи,
Ни светлой точки на песке,
И лишь отверстием туннеля
Светлеет выход вдалеке.
Но вот приходят дни цветенья,
И липы в поясе оград
Разбрасывают вместе с тенью
Неотразимый аромат.
Гуляющие в летних шляпах
Вдыхают, кто бы ни прошел,
Непостижимый этот запах,
Доступный пониманью пчел.
Он составляет в эти миги,
Когда он за сердце берет,
Предмет и содержание книги,
А парк и клумбы – переплет.
На старом дереве громоздком,
Завешивая сверху дом,
Горят, закапанные воском,
Цветы, зажженные дождем.
1957

КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ

Большое озеро как блюдо.
За ним – скопление облаков,
Нагроможденных белой грудой
Суровых горных ледников.
По мере смены освещенья
И лес меняет колорит.
То весь горит, то черной тенью
Насевшей копоты покрыт.
Когда в исходе дней дождливых
Меж туч проглянет синева,
Как небо празднично в прорывах,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Как торжества полна трава!
Стихает ветер, даль расчистив.
Разлито солнце по земле.
Просвечивает зелень листьев,
Как живопись в цветном стекле.
В церковной росписи оконниц
Так вечность смотрят изнутри
В мерцающих венцах бессонниц
Святые, схимники, цари.
Как будто внутренность собора –
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано.
Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою.
1956

НОЧНОЙ ВЕТЕР
Стихли песни и пьяный галдеж,
Завтра надо вставать спозаранок.
В избах гаснут огни. Молодежь
Разошлась по домам с погулянок.
Только ветер бредет наугад
Все по той же заросшей тропинке,
По которой с толпою ребят
Восвояси он шел с вечеринки.
Он за дверью поник головой.
Он не любит ночных катавасий.
Он бы кончить хотел мировой
В споре с ночью свои несогласья.
Перед ними – заборы садов.
Оба спорят, не могут уняться.
За разборами их неладов
На дороге деревья толпятся.
1957

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.
Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.
Липы обруч золотой –
Как венец на новобрачной.
Лик березы – под фатой
Подвенечной и прозрачной.
Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.
Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.
Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.
Где звучит в конце аллеи
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.
Осень. Древний уголок

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Старых книг, одежд, оружия,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.
1956

НОЧЬ
Идет без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром летчик
Уходит в облака.
Он потонул в тумане,
Исчез в его струе,
Став крестиком на ткани
И меткой на белье.
Под ним ночные бары,
Чужие города,
Казармы, кочегары,
Вокзалы, поезда.
Всем корпусом на тучу
Ложится тень крыла.
Блуждают, сбившись в кучу,
Небесные тела.
И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь.
В пространствах беспредельных
Горят материки.
В подвалах и котельных
Не спят истопники.
В Париже из-под крыши
Венера или Марс
Глядят, какой в афише
Объявлен новый фарс.
Кому-нибудь не спится
В прекрасном далеке
На крытом черепицей
Старинном чердаке.
Он смотрит на планету,
Как будто небосвод
Относится к предмету
Его ночных забот.
Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.
Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты – вечности заложник
У времени в плену.
1956

ВЕТЕР
(Четыре отрывка о Блоке)
Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим, –
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.
Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет.
Но Блок, слава Богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не принимал в сыновья.
Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имени в дни,
Как там еще Филька-фалетер[7]
Скакал в голове шестерни.
И жил еще дед-якобинец,
Кристалльной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.
Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.
Тот ветер повсюду. Он – дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.

Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг,
Пора сенокоса, толока,
Страда, суматоха вокруг,
Косцам у речного протока
Заглядываться недосуг.
Косьба разохотила Блока,
Схватил косовище барчук.
Ежа чуть не ранил с наскоку,
Косой полоснул двух гадюк.
Но он недоделал урока.
Упреки: лентяй, лежебока!
О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!
А к вечеру тучи с востока.
Обложены север и юг.
И ветер жестокий не к сроку
Влетает и режется вдруг
О косы косцов, об осоку,
Резучую гущу излук.
О детство! О школы морока!
О песни пололок и слуг!
Широко, широко, широко
Раскинулись речка и луг.

Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.
Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.
В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.
Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится.
Постигнет страну ураган.
Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую грозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.
Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи
Боязнь и жаждой развязки

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Легли в его жизнь и стихи.
1956

ДОРОГА

То насыпью, то глубию лога,
То по прямой за поворот
Змеится лентою дорога
Безостановочно вперед.
По всем законам перспективы
За придорожные поля
Бегут мощные извивы,
Не слякотя и не пыля.
Вот путь перебежал плотину,
На пруд не посмотревши вбок,
Который выводок утиный
Переплывает поперек.
Вперед то под гору, то в гору
Бежит прямая магистраль,
Как разве только жизни впору
Все время рваться вверх и вдаль.
Чрез тысячи фантазмагорий,
И местности и времена,
Через преграды и подспорья
Несется к цели и она.
А цель ее в гостях и дома –
Все пережить и все пройти,
Как оживляют даль изломы
Мимойдущего пути.
1957

В БОЛЬНИЦЕ

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втокнули в машину,
В кабину вскочил санитар.
И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.
Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерница
Со склянкою нашатыря.
Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.
Его положили у входа.
Все в корпусе было полно.
Разило парами иода.
И с улицы дуло в окно.
Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.
Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.
Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.
Там в зареве рдела застава,
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.
«О Господи, как совершенны

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
дела твои, – думал больной, –
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Я принял снотворную дозу
и плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.
Мне сладко при свете неярком
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделие,
И прячешь, как перстень, в футляр».
1956

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Три месяца тому назад,
Лишь только первые метели
На наш незащищенный сад
С остервененьем налетели,
Прикинул тотчас я в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме
Пополню свой весенний сборник.
Но навалились пустяки
Горой, как снежные завалы.
Зима, расчетам вопреки,
Наполовину миновала.
Тогда я понял, почему
Она во время снегопада,
Снежинками пронзала тьму,
Заглядывала в дом из сада.
Она шептала мне: «Спеш!» –
Губами, белыми от стужи,
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже.
Пока под лампой у стола,
Я медлил зимним утром ранним,
Зима явилась и ушла
Непонятым напоминаньем.
1957

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.
Снег идет, и все в смятеньи,
Все пускается в полет, –
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.
Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатанном салопе
Сходит с неба небосвод.
Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет.
Не оглянись – и святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и новый год.
Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет
Или как слова в поэме?
Снег идет, снег идет,
Снег идет, и все в смятеньи:
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.
1957

ВАКХАНАЛИЯ
Город. Зимнее небо.
Тьма. Пролеты ворот.
У Бориса и Глеба
Свет, и служба идет.
Лбы молящихся, ризы
И старух шушуны
Свечек пламенем снизу
Слабо озарены.
А на улице вьюга
Все смешала в одно,
И пробиться друг к другу
Никому не дано.
В завываньи бурана
Потонули: тюрьма,
Экскаваторы, краны,
Новостройки, дома,
Ключья репертуара
На афишном столбе
И деревья бульвара
В серебристой резьбе.
И великой эпохи
След на каждом шагу –
В толчее, в суматохе,
В метках шин на снегу,
В ломке взглядов, – симптомах
Вековых перемен, –
В наших добрых знакомых,
В тучах мачт и антенн,
На фасадах, в костюмах,
В простоте без прикрас,
В разговорах и думах,
Умиляющих нас.
И в значеньи двояком
Жизни, бедной на взгляд,
Но великой под знаком
Понесенных утрат.
«Зимы», «зисы» и «татры»,
Сдвинув полосы фар,
Подъезжают к театру
И слепят тротуар.
Затерявшись в метели,
Перекупщики мест
Осаждают без цели
Театральный подъезд.
Все идут вереницей,
Как сквозь строй алебард,
Торопясь протесниться,
На «Марию Стюарт».
Молодежь по записке
Добывает билет
И великой артистке
Шлет горячий привет.

За дверьми еще драка,
А уж средь темноты

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Вырастают из мрака
Декораций холсты.
Словно выбежав с танцев
И покинув их круг,
Королева шотландцев
Появляется вдруг.
Все в ней жизнь, все свобода,
И в груди колотье,
И тюремные своды
Не сломили ее.
Стрекозою такую
Родила ее мать
Ранить сердце мужское,
Женской лаской пленять.
И за это, быть может,
Как огонь горяча,
Дочка голову сложит
Под рукой палача.
В юбке пепельно-сизой
Села с краю за стол.
Рампа яркая снизу
Льет ей свет на подол.
Нипочем вертихвостке
Походжений угар,
И стихи, и подмости,
И Париж, и Ронсар.
К смерти приговоренной,
Что ей пища и кров,
Рвы, форты, бастионы,
Пламя рефлекторов?
Но конец героини
До скончанья времен
Будет славой отныне
И молвой окружен.

То же бешенство риска,
Та же радость и боль
Слили роль и артистку,
И артистку и роль.
Словно буйство премьерши
Через столько веков
Помогает умершей
Убежать из оков.
Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река.
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено.
Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом.

И опять мы в метели,
А она все метет,
И в церковном приделе
Свет, и служба идет.
Где-то зимнее небо,
Проходные дворы,
И окно ширпотреба
Под горой мишуры.
Где-то пир, где-то пьянка,
Именинный кутеж.
Мехом вверх, наизнанку
Свален ворох одежд.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Двери с лестницы в сени,
Смех и мнений обмен.
Три корзины сирени.
Ледяной цикламен.
По соседству в столовой
Зелень, горы икры,
В сервировке лиловой
Семга, сельди, сыры.
И хрустеные салфеток,
И приправ острота,
И вино всех расцветок,
И всех водок сорта.
И под говор стоустый
Люстра топит в лучах
Плечи, спины и бюсты
И сережки в ушах.
И смертельней картечи
Эти линии рта,
Этих рук бессердечье,
Этих губ доброта.

И на эти-то дива
Глядя, как маниак,
Кто-то пьет молчаливо
До рассвета коньяк.
Уж над ним межеумки
Проливают слезу.
На шестнадцатой рюмке
Ни в одном он глазу.
За собою упрочив
Право зваться немым,
Он среди женщин находчив,
Среди мужчин – нелюдим.
В третий раз разведенец,
И, дожив до седин,
Жизнь своих современниц
Оправдал он один.
Дар подруг и товарок
Он пустил в оборот
И вернул им в подарок
Целый мир в свой черед.
Но для первой же юбки
Он порвет повода,
И какие поступки
Совершит он тогда!

Среди гостей танцовщица
Помирает с тоски.
Он с ней рядом садится,
Это ведь двойники.
Эта тоже открыто
Может лечь на ура
Королевой без свиты
Под удар топора.
И свою королеву
Он на лестничный ход
От печей перегрева
Освежиться ведет.
Хорошо хризантеме
Стыть на стуже в цвету.
Но назад уже время –
В духоту, в тесноту.
С табаком в чайных чашках
Весь в окурках буфет.
Стол в конфетных бумажках.
Наступает рассвет.
И своей балерине,
Перетянутой так,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Точно стан на пружине,
Он шнурует башмак.
Между ними особый
Распорядок с утра,
И теперь они оба
Точно брат и сестра.
Перед нею в гостиной
Не встает он с колен.
На дела их картины
Смотрят строго со стен.
Впрочем, что им, бесстыжим,
Жалость, совесть и страх
Пред живым чернокнижьем
В их горячих руках?
Море им по колено,
И в безумьи своем
Им дороже вселенной
Миг короткий вдвоем.

Цветы ночные утром спят,
Не прошибает их поливка,
Хоть выкати на них ушат.
В ушах у них два-три обрывка
Того, что тридцать раз подряд
Пел телефонный аппарат.
Так спят цветы садовых гряд
В плену своих ночных фантазий.
Они не помнят безобразья,
Творившегося час назад.
Состав земли не знает грязи,
Все очищает аромат,
Который льет без всякой связи
Десяток роз в стеклянной вазе.
Прошло ночное торжество.
Забыты шутки и проделки.
На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.
1957

ЗА ПОВОРОТОМ
Насторожившись, начеку
У входа в чашу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.
Она щебечет и поет
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.
Под нею – сучья, бурелом,
Над нею – тучи,
В лесном овраге, за углом –
Ключи и кручи.
Нагроможденьем пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветет подснежник.
А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо.
За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Все вглубь, все настезь.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
1958

ВСЕ СБЫЛОСЬ

Дороги превратились в кашу.
Я пробираюсь в стороне.
Я с глиной лед, как тесто, квашу.
Плетусь по жидкой размазне.
Крикливо пролетает сойка
Пустующим березняком.
Как неготовая постройка,
Он высится порожняком.
Я вижу сквозь его пролеты
Всю будущую жизнь насквозь.
Все до мельчайшей доли сотой
В ней оправдалось и сбылось.
Я в лес вхожу, и мне не к спеху.
Пластами оседает наст.
Как птице, мне ответит эхо,
Мне целый мир дорогу даст.
Среди размокшего суглинка,
Где обнажился голый грунт,
Щебечет птичка под сурдинку
С пробелом в несколько секунд.
Как музыкальную шкатулку,
Ее подслушивает лес,
Подхватывает голос гулко
И долго ждет, чтоб звук исчез.
Тогда я слышу, как верст за пять,
У дальних землемерных вех
Хрустят шаги, с деревьев капит
И шлепается снег со стрех.
1958

ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Пронесшейся грозой полон воздух.
Все ожило, все дышит, как в раю.
Всем роспуском кистей лиловогроздых
Сирень вбирает свежести струю.
Все живо переменею погоды.
Дождь заливает кровель желоба,
Но все светлее неба переходы
И высь за черной тучей голуба.
Рука художника еще всесильней
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенной из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль.
Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки.
Пора дорогу будущему дать.
Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламененной чьей-нибудь.
1958

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора –
Силу подлости и злобы
Одолееет дух добра.
1959

ПОВЕСТИ
ДЕТСТВО ЛЮВЕРС
ДОЛГИЕ ДНИ
I

Люверс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме. Отец ее вел дела Луньевских копей и имел широкую клиентуру среди заводчиков с Чусовой.

Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для «Женечкиной комнаты», – облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным.

По летам жила на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидела взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты – желты, сукно – зелено. Это было похоже на бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене: шла игра.

Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветреные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:

– Это – Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка... Спи.

Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное, – Мотовилиха. В эту ночь это объяснило еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.

Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха – завод, казенный завод, и что делают там чугун, а из чугуна... Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрывает.

В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо если и открывает кому, то тем только людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как, эта новая Мотовилиха, сказала не все, что подумала, и самое существенное, нужное и беспокойное скрывает про себя.

Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но все чаще и чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством. Сквозь гардины струился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла и обладала неистощимым запасом терпенья; а чувство справедливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, застаивалась в столовой и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
страшно печально.

А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски «христианизмом», за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности; что это поделом. А между тем, – но это до сознания детей никогда не доходило, – между тем как раз наоборот, все их существо содрогалось и бродило, сбитое совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома; когда они не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом.

Редкие шутки отца вообще выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в раздражение, то становился решительно чужим человеком, чужим начисто и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладание. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзословили ему в ответ.

Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставляла его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем не уязвимый, какой-то неузнаваемый и жалкий, этот отец был – страшен, в противоположность отцу раздраженному – чужому. Он трогал больше девочку, сына – меньше.

Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками, и задаривала, и проводила с ними целые часы тогда, когда им менее всего этого хотелось; когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью и они не узнавали себя в тех ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт.

И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегалось все таинственное, чурающееся обнаружения, похожее на жар перед сыпью, они видели мать отчужденной, сторонящейся их и без повода вспылчивой. Являлся почтальон. Письмо относилось по назначению – маме. Она принимала не благодаря. «Ступай к себе!» хлопала дверью. Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались долготу, унылому недоумению.

Вначале, случалось, они плакали; потом, после одной особенно резкой вспышки, стали бояться; затем, с течением лет, это перешло у них в затаенную, все глубже укореняющуюся неприязнь.

Все, что шло от родителей к детям, приходило невпопад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нитье по заставам, когда все ложатся спать.

Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали потому, что мало кто и из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать – может всякий. Как можно ей помешать? А вот как. Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же.

И чтобы не было суков в душе, чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии, и все общие понятия, и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий, – психология.

Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Мисс Hawthorn этого б не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкостью англичанке, и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка похожа была на муху и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Женя не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это имя набрести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Ей казалось даже, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Тот день тянулся страшно долго. Матери не было в тот день. Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада.

Вскоре долгий день был предан забвению среди форм *passé* и *futur antérieur*, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Оханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений. Когда впоследствии она припоминала тот дом на Осинской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она его видела в тот второй долгий день, на его исходе. Он был действительно долог. На дворе была весна. Трудно назревающая и больная, весна на Урале прорывается затем широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали изнутри, как больные плоды, от той мутной и светлой водянки, которая раздувала их одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались где надо, на своих местах, на столах, и спускались с лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до комнат у ламп было касательства куда меньше, чем до весеннего неба, к которому они казались пододвинутыми вплотную, как к постели больного – питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле копошился говор дворни и где, леденея, застывала на ночь редящая капель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде. Впрочем, мать ожидалась, кажется, в этот день. В этот долгий или в ближайший. Да, вероятно. Или, может быть, она нагрнула ненароком. Может быть и то.

Женя стала укладываться в постель и увидела, что день долог оттого же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре.

– Она пудрится! Только этого не доставало.

Теперь она поняла наконец. Она давно замечала.

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; от того, что чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было – она это чувствовала – куда сквернее ее подозрений. Надо было – это чувствовалось до оступенья действительно, чувствовалось в икрах и в висках, – надо было неведомо отчего и зачем скрыть это, как угодно и во что бы то ни стало. Суставы, ноя, плыли слитным гипнотическим внушением. Томящее и измощающее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотоке какое-то тошнотворное, гнусное зло. «Menteuse!»[8] Приходилось только отрицать, упорно запершись в том, что было гаже всего и находилось где-то в середине между срамом безграмотности и позором уличного происшествия. Приходилось вздрагивать, стиснув зубы, и, давясь слезами, жаться к стене. В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно и по реке шли последние урывки.

Ни она, ни француженка не услышали вовремя звонка. Поднявшаяся кутерьма ушла в глухоту черно-бурых шкур, и когда вошла мать, то было уже поздно. Она застала дочь в слезах, француженку – в краске. Она потребовала объяснения. Француженка напрямик объявила ей, что – не Женя, нет – *votre enfant*[9], – сказала она, что ее дочь пудрится и что она замечала и догадывалась уже раньше. Мать не дала

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru договорить ей – ужас ее был непритворен: девочке не исполнилось еще и тринадцати.

– Женя – ты?.. Господи, до чего дошло! (Матери в эту минуту казалось, что слово это имеет смысл, будто уже и раньше она знала, что дочка деградирует и опускается, и она только не распорядилась вовремя – и вот застает ее на такой низкой степени паденья.) Женя, говори всю правду – будет хуже! – что ты делала. . . – с пудреницей, – хотела, вероятно, сказать госпожа Люверс, но сказала: – с этой вещью, – и схватила «эту вещь» и взмахнула ею в воздухе.

– Мама, не верь м-11е, я никогда... – и она разрыдалась.

Но матери слышались злобные ноты в этом плаче, которых не было в нем, и она чувствовала виноватой себя и внутренне себя ужасалась; надо было, по ее мнению, исправить все, надо было, пускай и против материнской природы, «возвыситься до педагогических и благоразумных мер»: она решила не поддаваться состраданию. Она положила выждать, когда прольется поток этих глубоко терзавших ее слез.

И она села на кровать, устремив спокойный и пустой взгляд на краешек книжной полки. От нее пахло дорогими духами. Когда дочь пришла в себя, она снова приступила к ней с расспросами. Женя кинула заплаканными глазами по окну и всхлипнула. Шел и, верно, шумел лед. Блестала звезда. Ковко и студено, но без отлива, шершаво чернела пустынная ночь. Женя отвела глаза от окна. В голосе матери слышалась угроза нетерпенья. Француженка стояла у стены, вся – серьезность и сосредоточенная педагогичность. Ее рука по-адъютантски покоилась на часовом шнурке. Женя снова глянула на звезды и на Каму. Она решилась. Несмотря ни на холод, ни на урывки. И – бросилась. Она, путаясь в словах, непохоже и страшно рассказала матери про это. Мать дала договорить ей до конца только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять – поняла-то она все по первому слову. Нет, нет: по тому, как глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу. Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу. Ей хотелось броситься на шею к дочери и заплакать. Но – педагогичность; она поднялась с кровати и сорвала с постели одеяло. Она подозвала дочь и стала ее гладить по голове медленно-медленно, ласково.

– Хорошая де... – вырвалось у нее скороговоркой. Она шумно и широко отошла к окну и отвернулась от них.

Женя не видела француженки. Стояли слезы, стояла мать – во всю комнату.

– Кто оправляет постель?

Вопрос не имел смысла. Девочка дрогнула. Ей стало жаль Грушу. Потом на знакомом ей французском языке, незнакомым языком было что-то сказано: строгие выражения. А потом опять ей, совсем другим голосом:

– Женечка, ступай в столовую, детка, я сейчас тоже туда приду и расскажу тебе, какую мы чудную дачу на лето вам... нам на лето с папой сняли.

Лампы были опять свои, как зимой, дома, с Люверсами, – горячие, усердные, преданные. По синей шерстяной скатерти резвилась мамина куница. «Выиграно задержусь на Благодати жди концу Страстной если...»; остального нельзя было прочесть: депеша была загнута с уголка. Женя села на край дивана, усталая и счастливая. Села скромно и хорошо, точь-в-точь, как села полгода спустя в коридоре Екатеринбургской гимназии на край желтой холодной лавки, когда, ответив на устном экзамене по русскому языку на пятерку, узнала, что «может идти».

На другое утро мать сказала ей, что? нужно будет делать в таких случаях и что это ничего, не надо бояться, что это будет не раз еще. Она ничего не назвала и ничего ей не объяснила, но прибавила, что теперь она сама займется предметами с дочерью, потому что больше уезжать не будет.

Француженка была разочтена за нерадение, пробив немного месяцев в семье. Когда ей наняли извозчика и она стала спускаться по лестнице, она встретила на площадке с подымавшимся доктором. Он очень неприветливо ответил на ее поклон и ничего не сказал ей на прощанье; она догадалась, что он уже знает все,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
нахмурилась и повела плечами.

В дверях стояла горничная, дожидавшаяся пропустить доктора, и потому в передней, где находилась Женя, дольше, чем полагалось, стоял гул шагов и гул отдающего камня. Так и запечатлелась у ней в памяти история ее первой девичьей зрелости: полный отзвук щебечущей утренней улицы, медлящей на лестнице, свежо проникающей в дом; француженка, горничная и доктор, две преступницы и один посвященный, омытые, обеззараженные светом, прохладой и звучностью шаркавших маршей.

Стоял теплый, солнечный апрель. «Ноги, ноги оботрите!» – из конца в конец носил голый светлый коридор. Шкуры убирались на лето. Комнаты вставали чистые, преображенные и вздыхали облегченно и сладко. Весь день, весь томительно беззакатный, надолго увязавший день, по всем углам и середь комнат, по прислоненным к стенке стеклам и в зеркалах, в рюмках с водой и на синем садовом воздухе, ненасытно и неуютливо, щурясь и охорашиваясь, смеялась и неистовствовала черемуха и мылась, захлебываясь, жимолость. Круглые сутки стоял скучный говор дворов; они объявляли ночь низложенной и твердили мелко и дробно, день-деньской, с затеканьями, действовавшими как сонный отвар, что вечера никогда больше не будет и они никому не дадут спать. «Ноги, ноги!» – но им горелось, они приходили пьяные с воли, со звоном в ушах, за которым упустили понять толком сказанное, и рвались пожилой отхлебать и отжеваться, чтобы, с дерущим шумом сдвинув стулья, бежать снова назад, в этот навывет, за ужин ломящийся день, где просыхающее дерево издавало свой короткий стук, где пронзительно щебетала синева и жирно, как топленая, блестела земля. Граница между домом и двором стиралась. Тряпка не домывала наследленного. Полы поволакивались сухой и светлой мазней и похрустывали.

Отец навез сластей и чудес. В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали о своем появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, которая становилась все более и более прозрачной по мере того, как слой за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни походили на капли миндального молока, другие – на брызги голубой акварели, третьи – на затвердевшую сырную слезу. Те были слепы, сонны или мечтательны, эти – с резвою искрой, как смерзшийся сок корольков. Их не хотелось трогать. Они были хороши на пенящейся бумаге, выделявшей их, как слива свою тусклую глеть.

Отец был необычайно ласков с детьми и часто провожал мать в город. Они возвращались вместе и казались радостны. А главное, оба были спокойны духом, ровны и приветливы, и когда мать урывками, с шутовой укоризной взглядывала на отца, то казалось, она черпает этот мир в его глазах, некрупных и некрасивых, и изливает его потом своими, крупными и красивыми, на детей и окружающих.

Раз родители поднялись очень поздно. Потом неизвестно с чего решили поехать завтракать на пароход, стоявший у пристани, и взяли с собой детей. Сереже дали отведать холодного пива. Все это так понравилось им, что завтракать на пароход ездили еще как-то. Дети не узнавали родителей. Что с ними случилось? Девочка недоуменно блаженствовала, и ей казалось, что так будет теперь всегда. Они не опечалились, когда узнали, что на дачу их в это лето не повезут. Скоро отец уехал. В доме появились три дорожных сундука, огромных, желтых, с прочными накладными ободьями.

III

Поезд отходил поздно ночью. Люверс переехал месяцем раньше и писал, что квартира готова. Несколько извозчиков трусцой спускались к вокзалу. Его близость сказалась по цвету мостовой. Она стала черна, и уличные фонари ударили по бурому чугуну. В это время с виадука открылся вид на Каму, и под них грохнулась и выбежала черная, как сажа, яма, вся в тяжестях и в тревогах. Она стрелой побежала прочь и там, далеко-далеко, в том конце, пугаясь, раскатилась и затряслась мигающими бусинами сигнализационных далей.

Было ветрено. С домов и заборов слетали их очертанья, как обечайки с решет, и зыбились и трепались в рытом воздухе. Пахло картошкой. Их извозчик выбрался из очереди подскакивавших спереди корзин и задков и стал обгонять их. Они издали узнали полозк со своим багажом; поравнялись; Уляша что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес ее покрывал, и она тряслась и подскакивала, и подскакивал ее голос.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Девочка не замечала печали за новизной всех этих ночных шумов и чернот и свежести. Далеко-далеко что-то загадочно чернелось. За пристанскими бараками болтались огоньки, город полоскал их в воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, и они густо и жирно зароились, слепые, как черви. На Любимовской пристани трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали, глядя на звезды, баржи. «Здесь – крысятник», – подумала Женя. Их окружили белые артельщики. Сережа соскочил первый. Он оглянулся и очень удивился, увидав, что ломовик с их поклажей тоже тут уже – лошадь задрала морду, хомут вырос, встал торчмя, петухом, она уперлась в задок и стала осаживать. А его занимало всю дорогу, насколько те от них отстанут.

Мальчик стоял, упиваясь близостью поездки, в беленькой гимназической рубашке. Путешествие было обоим в новинку, но он знал и любил уже слова: депо, паровозы, запасные пути, беспересадочные, и звукосочетание «класс» казалось ему на вкус кисло-сладким. Всем этим увлекалась и сестра, но по-своему, без мальчишеской систематичности, которая отличала увлечения брата.

Внезапно рядом как из-под земли выросла мать. Было приказано повести детей в буфет. Оттуда, пробираясь павой через толпу, пошла она прямо к тому, что было названо в первый раз на воле громко и угрожающе «начальником станции» и часто упоминалось затем в различных местах, с вариациями, среди разнообразия давки.

Их одолевала зевота. Они сидели у одного из окон, которые были так пыльны, так чопорны и так огромны, что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в шапке. Девочка видела: за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее и угрюмее, чем эта – в графине, и в ту комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются, наведя мраку; а когда они уезжают и очищают комнату, то оказывается, что это не комната, потому что там есть небо, за столбиками, и на той стороне – горка, и деревянные дома, и туда идут, удаляясь, люди; там, может быть, поют петухи сейчас и недавно был и наслякотил водовоз...

Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолоки и зарев, с заблаговременно стягивавшимися из ночного города уезжающими, с долгим ожиданием; с тишиной и переселенцами, спавшими на полу, среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в рогожу машин и не зашитых велосипедов.

Дети улеглись на верхних местах. Мальчик тотчас заснул. Поезд стоял еще. Светало, и постепенно девочке уяснилось, что вагон синий, чистый и прохладный. И постепенно уяснялось ей... Но спала уже и она.

Это был очень полный человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито все купе. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. Она разглядывала его и думала, откуда он взялся к ним в купе и когда это успел он одеться и умыться. Она понятия не имела об истинном часе дня. Она только проснулась, следовательно – утро. Она его разглядывала, а он не мог видеть ее: полати шли наклоном вглубь к стене. Он не видел ее, потому что и он поглядывал изредка из-за ведомостей вверх, вкось, вбок, и когда он подымал глаза на ее койку, их взгляды не встречались; он либо видел один матрац, либо же... но она быстро подобрала их под себя и натянула ослабнувшие чулочки. «Мама – в этом углу; она убралась уже и читает книжку, – отраженно решила Женя, изучая взгляды толстяка. – А Сережи нет и внизу. Так где же он?» И она сладко зевнула и потянулась. «Страшно жарко», – поняла она только теперь и с голов заглянула на полуспущенное окошко. «А где же земля?» – ахнуло у ней в душе.

То, что она увидела, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропущий, вниз широко и отлого и, измельчав, сгустившись и замглась, круто обрывался, совсем уже черный. А то, что высилось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание, и сразу же ощутила безроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча – какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз, в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там и та-а-ам вон; только его.

– Это – Урал? – спросила она у всего купе, перевесясь.

Весь остаток пути она не отрываясь провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях, обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась и все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачат. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхожденья. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботой о целостности земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал.

Она зашла на мгновение в купе, сощурился глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась за какой-то ременной настенный рубезок. Мама сплюнула в кулачок последнюю косточку, сбила оброненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка, против ожиданий, был сиплый, надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно, добрый и, разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбурга, изъездил Урал вдоль и поперек и прекрасно знает, а когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него все время вздыхала, словно поданная для целованья, и мягко прыгала, будто была мячом об пол.

– Теперь скоро, – кося глаза, криво протянул он вбок от мальчика, хотя обращался именно к нему, и вытянул губы.

– Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, и написано: «Азия», – выпалил Сережа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.

Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей, в чем дело, она тоже побежала на тот бок ждать столба, боясь, что его уже пропустила. В очарованной ее голове «граница Азии» встала в виде фантазмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли, железных брусьев, которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой наслышалась сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала и вот скоро увидит сама.

А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику, которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось скончанья, и природа к тому, что ее вскорости ожидало, не готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно на Сережин неистовый крик, мимо окна мелькнуло, и стало боком к ним, и побежало прочь что-то вроде могильного памятничка, унося на себе в ольху от гнавшейся за ним ольхи долгожданное сказочное название! В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов, и тучей пыли несшийся под уклон поезд оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов, а все еще трепетали платки на летевших головах, и переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все, в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо все той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.

IV

Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню, разносчицей, его приносила по утрам Ульяша парами, и особенные, другие, не пермские булки. Тротуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru белым глянецом. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходило на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями.

– Как в Париже, – повторяла Женя вслед за отцом.

Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закурил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку, и сидел боком, и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил, и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще не известных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось «вы», и, новая, – она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Ульяши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь или улицу, или птиц. И Ульяша, верно, спрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей; спрашивает, и осваивается, и смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми, или еще где.

Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости, – и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал:

– Неужели не показал? Но отсюда ее не видать, вот из кухни, может быть (он прикинул в уме), и то разве крышу одну.

Он выпил еще нарзану и позвонил.

Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая, – уже через минуту казалось девочке, – какую она наперед загадала в столовой и представила, – плита изразцовая, отливала бело-голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала; Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов.

– Да, она ремонтируется, – сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую, по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.

– Изумительное масло, – сказала мать, садясь.

А они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав.

– Чем же это – Азия? – подумала она вслух.

Но Сережа отчего-то не понял того, что наверняка бы понял в другое время: до сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по Уральскому хребту, взглянув на нее, сраженную, как ему казалось, этим доводом:

– Условились провести естественную границу, вот и все.

Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеком. Не верилось, что день, вместивший все это, – вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще не весь, не кончился еще. При мысли о том, что все это отошло назад, сохраняя свой бездыханный порядок, в положенную ему даль, она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру тело после трудового дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот и надорвалась. И, почему-то уверенная в том, что он, ее Урал, там, она повернулась и побежала в кухню через столовую, где посуды стало меньше, но еще оставалось изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода.

Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеи мадаполам на зубах, пороли резкие стрижи, и внизу – она высунулась – блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались искры с точильного круга, и пахло всем съеденным, лучше и занимательней, чем

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru когда это подавалось, пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно, темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними, за легкой, верно, работой: вымыли, верно, пол и стелют рогожи жаркими руками, – и как выплескивают воду из судомойной лохани, и хотя это выплеснули внизу, но кругом так тихо! И как там клокочет кран, как... «Ну вот, барышня...» – но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее, – ...как, – додумывала она свою мысль, – внизу под ними знают и, верно, говорят: «Вот во второй номер господина нынче приехали».

В кухню вошла Ульяша.

Дети спали крепко в эту первую ночь и проснулись: Сережа – в Екатеринбурге, Женя – в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.

Это началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это объявили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенным клеевою краской стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать пристававший день. Она не позвала его, когда, в сопровождении мамы, он зашел сюда знакомиться «со своей будущей ученицей». Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые, сопатые и потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала лиловая грозная туча, знавшая толк в пушках и колесах куда больше их белых рубах, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том, чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка, входя в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испаряющуюся третью вещь: идею смерти, как та вывеска у цирюльника, где это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия красные «запрещающие останавливаться» рогатки стали местом каких-то городских, запретно останавливавшихся тайн, а китайцы – чем-то лично страшным, чем-то женинным и ужасным? Не все, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Много, как ее близкое поступление в гимназию, бывало приятно. Но, как и оно, все это объявлялось ей. Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало плыть, сливаясь в комки, капая навязчивыми идеями.

У

У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря: «Сегодня будут бельгийцы». Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один ненароком, в будни, выбрав какое-нибудь нехорошее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла, непочатого, из обертки, душистые и холодные. У одного была борода, густая и пушистая, и пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца, с каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть: шумно, свежо и сразу, куда-то вбок, куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых.

Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никелевый кофейник, чистые крепкие зубы, плотное белье. Они любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца, они обладали очень тонким умением вовремя сдержать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец начинал тяжело, на очень нечистом французском языке, пространно, с заминками говорить о контрагентурах, о *r?f?rences approuv?es* и о *f?rocit?s*, то есть *bestialit?s*, *ce que veut dire en russe*[10] – хищениях на благодати.

Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще, но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его *f?rocit?s* не на шутку тяготили; но, казалось, само положение освящало тот хохот, которым покрывались негаратовы попытки.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Звали его Негарат. Он был валлонец из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали Диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как ю, я, ъ. Они у него выходили двойные какие-то, розные и растопыренные. Дети позволили себе встать на коленки на кожаные подушки кресел и положить локти на стол, – все стало дозволенным, все смешалось – ю было не ю, а какой-то десяткой; вокруг ревели и заливались, Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы, отец трясся и, красный, похаживая по комнате, твердил: «Нет, не могу», – и комкал носовой платок.

– Faites de nouveau, – поддавал жару Эванс – Commencez[11] .

И Негарат приоткрывал рот, медля, как заика, и обдумывая, как разродиться ему этим неисследимым, как колонии в Конго, русским «еры».

– Dites[12] : «увы, невыгодно», – спав с голоса, влажно и сипло, предлагал отец.

– Ouvoui, ni?voui.

– Entends tu? [13] – ouvoui, ni?voui – ouvoui, ni?voui. Oui, oui, – chose inou?e, charmant! [14] – закатывались бельгийцы.

Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные и превосходно. Лился, как из ключей, холодный, прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем отблеске маялись классные стекла. Матовые вполонину, они туманились и волновались низами. Форточки сводило синей судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов.

Она не знала, что все ее волненья будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и вершков на семь! Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды? Граны, драхмы, скрупулы и унции, казавшиеся ей всегда четырьмя возрастными скорпиона? Отчего в слове «полезный» пишется «е», а не «ѣ»? Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилии представить себе те неблагоприятные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово «полѣзный», дикое и косматое в таком начертаньи. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена, и уже кроилась кофейного цвета форма, и примерялась потом на булавках, скупно и докучно, часами; а в комнате у ней завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков и замечательно омерзительная снимка.

ПОСТОРОННИЙ

I

Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок, и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. «Колька!» – кликнула Аксинья. Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменил в дворницкую.

Брать работу на двор всегда значило – затупив до утраты смысла какое-нибудь примечанье к правилу, идти потом наверх, начинать все сызнова в комнатах. Они разом, с порога, прохватывали особым полумраком и прохладой, особой, всегда неожиданной знакомостью, с какою мебель, заняв раз навсегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать. Но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь налицо уже его план, то размещение, которому, непокорное во всем прочем, оно подчинится. И не было такого сна, навеянного движеньем воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударявший вдруг, с порога прихожей.

На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделай это Сережа, сама бы восстала на «безобразную привычку». Другое дело – на дворе.

Проход поставил мороженицу наземь и пошел назад в дом. Когда он отворил дверь в спицынские сени, оттуда повалил клубящийся дьявольский лай голеньких генеральских собачек. Дверь захлопнулась с коротким звонком.

Между тем Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на спине, продолжал

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru реветь, как ему надлежало, и Женю стало брать сомнение только насчет того, точно ли на спине, не на хребте ли все это совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака из южных стран, издалека, едва успев проводить его на север, уже встречали у порога генеральской кухни с ведром и мочалкой в руке.

Денщик поставил ведро, нагнулся и, разобрав мороженицу, принялся ее мыть. Августовское солнце, прорвав древесную листву, засело в крестце у солдата. Оно внедрилось, красное, в жухлое мундирное сукно и, как скипидаром, жадно его собой пропитало.

Двор был широкий, с замысловатыми закоулками, мудреный и тяжелый. Мощный в середине, он давно не перемещивался, и бульжник густо порос плоской кудрявой травкой, издававшей в послеобеденные часы кислый лекарственный запах, какой бывает в зной возле больниц. Одним краешком, между дворницкой и каретником, двор примыкал к чужому саду.

Сюда-то, за дрова, и направилась Женя. Она подперла лестницу снизу плоскую полешкой, чтобы не сползла, утрясла ее на ходивших дровах и села на среднюю перекладину неудобно и интересно, как в дворовой игре. Потом поднялась и, взобравшись повыше, положила книжку на верхний разоренный рядок, готовясь взяться за «Демона»; потом, найдя, что раньше лучше было сидеть, спустилась опять и забыла книжку на дровах и про нее не вспомнила, потому что теперь только заметила она по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув рот, как очарованная.

Кустов в чужом саду не было, и вековые деревья, унеся в высоту, к листве, как в какую-то ночь, свои нижние сучья, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке, воздушном и торжественном, и никогда из него не выходил. Сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем, они позволяли хорошо видеть ту пустынную, малоезжую улочку, на которую выходил чужой сад тою стороною. Там росла желтая акация. Теперь кустарник сох, скрючивался и осыпался.

Вынесенная мрачным садом с этого света на тот, глухая улочка светилась так, как освещаются происшествия во сне; то есть очень ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце там, надев очки, шарило в курселепе.

На что же так зазевалась Женя? На свое открытие, которое занимало ее больше, чем люди, помогшие ей его сделать.

Там лавочка, стало быть? За калиткой, на улице. На такой улице! «Счастливые», – позавидовала она незнакомкам. Их было три.

Они чернелись, как слово «затворница» в песне. Три ровных затылка, зачесанных под круглые шляпы, склонились так, будто крайняя, наполовину скрытая кустом, спит, обо что-то облокотясь, а две другие тоже спят, прижавшись к ней. Шляпы были черно-сизые, и гасли, и сверкали на солнце, как насекомые. Они были обтянуты черным крепом. В это время незнакомки повернули головы в другую сторону. Верно, что-то в том конце улицы привлекло их внимание. Они поглядели с минуту на тот конец так, как глядят летом, когда мгновение растворено светом и удлинено, когда приходится щуриться и защищать глаза ладонью, – с такую-то минуту поглядели они и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости.

Женя пошла было домой, но хватилась книжки и не сразу вспомнила, где книжка осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидела, что незнакомки поднялись и собираются идти. Они поодиночке, друг за дружкой, прошли в калитку. За ними странно, увечной походкой следовал невысокий человек. Он нес под мышкой большущий альбом или атлас. Так вот чем занимались они, заглядывая через плечо друг дружке, а она думала – спят. Соседки прошли садом и скрылись за службами. Уже низилось солнце. Доставая книжку, Женя потревожила поленницу. Сажень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехало вниз и упало на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков, тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.

Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось бренчанье солдатской балалайки. Над ней вилял и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкары. Но

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru брэнчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не заплясав, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша.

Женя возвращалась в дом. «Хромой, – подумала она про незнакомца с альбомом, – хромой, а из господ, без костылей». Она пошла с черного хода. На дворе настойно и приторно пахло ромашкой. «С некоторых пор у мамы составила́сь целая аптека, масса синих склянок с желтыми шляпками». Она медленно подымалась по лестнице. Железные перила были холодны, ступеньки скрежетали в ответ на шарканье. Вдруг ей пришло в голову что-то странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то неуследимое сходство. В чем-то совсем неуловимом. Она остановилась. В чем-то таком, – она задумалась, – в таком, что ли, что имеют в виду, когда говорят: все мы люди... или одним, мол, миром мазаны... или судьба кости не разбирает, – она носком отбросила валявшуюся склянку, склянка полетела вниз, упала в пыльные кули и не разбилась, – в чем-то, словом, таком, что очень-очень общо, общо всем людям. Но тогда почему же не между ней самой и Аксиньей? или Аксиньей, положим, и Ульяшей? Это показалось Жене тем страннее, что трудно было найти более несхожих: в Аксинье было что-то земляное, как на огородах, нечто напоминавшее вздутые картофелины или празелень бешеной тыквы, тогда как мама... Женя усмехнулась одной мысли о сравнимости.

А между тем именно Аксинья задавала тон этому навязывавшемуся сравнению. Она брала перевес в этом сближеньи. От него не выигрывала баба, а проигрывала барыня. На мгновение Жене померещилось что-то дикое. Ей показалось, что в маму вселилось какое-то начало простонародности, и она представила себе мать произносящей «щука» вместо «щука», «работам» вместо «работаем»; а вдруг – померещилось ей – придет день и в своем новом шелковом капоте без кушака, кораблем, она возьмет да и брякнет: «К дверьми прислонь!»?

В коридоре пахло лекарством. Женя прошла к отцу.

II

Обстановка обновлялась. В доме появилась роскошь. Люверсы завели коляску и стали держать лошадей. Кучера звали Давлетша.

Резиновые шины составляли тогда полную новость. На прогулках оборачивались и провожали коляску глазами все: люди, заборы, часовни, петухи.

Госпоже Люверс долго не отпирали, и пока коляска, из почтения к ней, удалялась шагом, она кричала им вслед:

– Далеко не катай! До шлагбаума и назад; осторожней с горки!

А белесое солнце, достав ее с докторского крыльца, тянулось дальше, вдоль улицы, и, дотянувшись до тугой и веснушчатой, багровой Давлетшиной шеи, грело и ежило ее.

Они въехали на мост. Раздался разговор балок, лукавый, круглый и складный, сложенный некогда на все времена, свято зарубленный оврагом и памятный ему всегда, в полдень и в сон.

Выкормыш, взбираясь на гору, стал браться за срывистый, недававшийся кремень; он вытянулся, ему было неспособно, и вдруг, напомнив в этом карабканьи ползущую саранчу, он, как и эта тварь, по природе летящая и скачущая, стал молниеносно красив в унизи́тельности своих неестественных усилий; вот-вот, казалось, он не стерпит, гневно сверкнет крылами и взлетит. И действительно, лошадь дернулась, кинула передними голяшками и короткой скачкой понеслась по пустырям. Давлетша стал подбирать ее, укорачивая вожжи. На них дряхло, лохмато и притупленно залаяла собака. Пыль была как ружейный порох. Дорога круто сворачивала влево.

Черная улица тупиком упиралась в красный забор железнодорожного депо. Она полошилась. Солнце било сбоку, из-за кустов, и пеленало толпу странных фигурок в женских кофтах. Солнце окатывало их белым хлещущим светом, который, казалось, хлынул из сапогом опрокинутого ведра, как жидкая известка, и валом бежал по земле. Улица полошилась. Лошадь шла шагом.

– Свороти направо! – приказала Женя.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Переезда не будет, – ответил Давлетша, кнутовищем показывая на красный конец, – тупик.

– Тогда стань, я погляжу.

– Это китайцы наши.

– Вижу.

Давлетша, поняв, что барышне говорить с ним неохота, пропел с оттяжкой «тпруу», и лошадь, колыхнув всем телом, стала как вкопанная, а Давлетша засвистал тонко и заимчиво, с перерывами, понужая ее к чему надо.

Китайцы перебежали через дорогу, держа в руках громадные ржаные ковриги. Они были в синем и походили на баб в штанах. Непокрытые головы кончались у них узелком на темени и казались скрученными из носовых платков. Некоторые задерживались. Этим можно было разглядеть. Лица у них были бледные, землистые, склябящиеся. Они были смуглы и грязны, как медь, окисленная нуждой.

Давлетша вынул кисет и расположился делать свертыш. В это время из-за угла, оттуда, куда шли китайцы, вышло несколько женщин. Верно, и они шли за хлебом. Те, что были на дороге, стали гоготать и подбираться к ним, извиваясь так, как если бы у них руки были скручены веревкой за спину. Изгибистость их движений подчеркивалась тем в особенности, что по всему телу, с ворота по самые щиколотки, они были одеты во что-то одно, как акробаты. В этом не было ничего страшного; женщины не побежали прочь, а стали и сами, смеясь.

– Послушай, Давлетша, чего это ты?

– Лошадь рванула! рванула! не сто-ить! – раз к разу огревая Выкормыша вожжой, дергал и бросал Давлетша.

– Тише, вывалишь. Зачем хлещешь ее?

– Надо.

И только выехав в поле и успокоив лошадь, уже заплывавшую было, хитрый татарин, стрелой вынесший барышню от зазорного зрелища, взял вожжи в правую руку и положил кисет, все время бывший у него в руке, за полу.

Они возвратились другой дорогой. Госпожа Люверс увидела их, вероятно, из докторского окошка. Она вышла на крыльцо в ту самую минуту, как мост, сказав им всю свою сказку, начал ее сызнова под телегой водовоза.

III

С Дефендовой, с девочкой, принесшей в класс рябины, наломанной дорогой в школу, Женя сошлась в один из экзаменов. Дочка псаломщика держала переэкзаменовку по-французски. Люверс Евгению посадили на первое свободное место. Так они и познакомились, сидев парой за одною фразой:

– Est-ce Pierre qui a volé la pomme?

– Oui. C'est Pierre qui vola... Etc. [15]

То обстоятельство, что Женю оставили учиться дома, знакомству девочек конца не положило. Они стали встречаться. Встречи их, по милости маминых взглядов, была односторонни: Лизе разрешалось бывать у них, Жене заходить к Дефендовым пока что было запрещено.

Такая урывочность во встречах не помешала Жене быстро привязаться к подруге. Она влюбилась в Дефендову, то есть стала страдательным лицом в отношениях, их манометром, бдительным и разгоряченно-тревожным. Всякие Лизины упоминания про одноклассниц, неизвестных Жене, вызывали в ней чувство пустоты и горечи. У ней падало сердце: это были приступы первой ревности. Без поводов, силой одной своей мнительности убежденная в том, что Лиза хитрит, – наружно прямо, а в душе смеется надо всем, что есть в ней люверсовского, и за глаза, в классе и дома потешается этим, – Женя принимала это как должное, как нечто лежащее в природе

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru привязанности. Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта, который не знает самолюбия и только и умеет, что страдать и жечь себя во славу фетиша, пока он чувствует впервые.

Ни Женя, ни Лиза ничем решительно друг на друга не влияли, и Женя Женей, Лиза Лизой они встречались и расставались, та с сильным чувством, эта – безо всякого.

Отец Ахмедьяновых торговал железом. В год между рождением Нуретдина и Смагила он неожиданно разбогател. Тогда Смагил стал зваться Самойлой, и сыновьям решено было дать русское воспитание. Отцом не была упущена ни одна особенность вольного барского быта, и за десятилетнюю гонку по всем статьям было перехвачено через край. Дети удались на славу, то есть пошли во взятый образчик, и шибкий размах отцовской воли остался в них, шумный и крушительный, как в паре закруженных и отданных на милость инерции маховиков. Самыми заправскими четвероклассниками в четвертом классе были братья Ахмедьяновы. Они состояли из ломающегося мела, подстрочников, ружейной дробы, грохота парт, непристойных ругательств и шелушившейся в морозы, краснощекой и курносой самоуверенности. Сережа сдружился с ними в августе. К концу сентября у мальчика не стало лица. Это было в порядке вещей. Быть типическим гимназистом, а потом уже чем-нибудь еще – значило быть заодно с Ахмедьяновыми. А ничего так сильно не хотелось Сереже, как быть гимназистом.

Люверс не препятствовал дружбе сына. Он не видел перемены в нем, а если что и замечал, то приписывал это действию переходного возраста. К тому же голова у него была занята другими заботами. С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима.

IV

Ей было жаль не его, хотя все вокруг только и говорили, что как это в самом деле до невероятности некстати и досадно. Негарат был слишком мудрен и для родителей, а все, что чувствовалось родителями в отношении чужих, смутно передавалось и детям, как домашним избалованным животным. Женю печалило только то, что теперь не все останется по-прежнему, и станет бельгийцев трое, и не будет больше такого смеха, как бывало раньше.

Она случилась за столом в тот вечер, когда он объявил маме, что должен ехать в Дижон, на отбывку какого-то сбора.

– Как же вы в таком случае еще молоды! – сказала мать и тут же ударилась на все лады его жалеть.

А он сидел, понуря голову. Разговор не клеился.

– Завтра придут замазывать окна, – сказала мать и спросила его, не закрыть ли.

Он сказал, что не надо, вечер теплый, а у них не замазывают и на зиму.

Вскоре подошел и отец. Он тоже рассыпался сожалениями при этой весте. Но перед тем, как приняться сетовать, он приподнял брови и удивленно спросил:

– В Дижон? Да разве вы не бельгиец?

– Бельгиец, но во французском подданстве.

И негарат стал рассказывать историю переселения «своих стариков» так занимательно, будто не был их сыном, и так тепло, будто говорил по книжке о чужих.

– Простите, я вас перебую, – сказала мать. – Женюра, ты все-таки притвори окошко. Вика, завтра придут замазывать. Ну, продолжайте. Однако этот дядя ваш порядочный негодяй! Неужели так, буквально под присягой?

– Да.

И он вернулся к прерванной повести. Когда же он дошел до дела, до бумаги, полученной им вчера по почте из консульства, то догадался, что девочка тут не

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru понимает ничего и силится понять. Тогда он повернулся к ней и стал объяснять, и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбия, – что? эта воинская повинность за штука. «Да, да. Понимаю. Да. Понимаю, понимаю», – благодарно и машинально твердила девочка.

– Зачем ехать так далеко? Будьте солдатом тут, учитесь, где все, – поправились она, ярко представив себе луга, открывавшиеся с монастырской горки.

«Да, да. Понимаю. Да, да, да», – опять зарядила девочка, а Люверсы, сидевшие без дела и находившие, что бельгиец забивает ребенку голову ненужными подробностями, вставляли свои сонные и упрощающие замечания. И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были негарами в разных далеких местах и потом, распростиаясь, пустились в неожиданный, с неба свалившийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в чуждом им Екатеринбургe. Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Так не растолковывал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил. Они прощались.

– Часть книг я оставлю у Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими и дальше, madame. Ваш сын знает, где я живу, он бывает в семье домовладельца, а свою комнату я передаю Цветкову. Я его предупрежу.

– Пусть заходит. Цветков, вы говорите?

– Цветков.

– Пусть заходит. Познакомимся. В ранней молодости я знавала таких, – и она посмотрела на мужа, который остановился перед негарами, заложив руку за борт плотного пиджака, и рассеянно дожидаясь удобного оборота, чтобы условиться с бельгийцем окончательно насчет завтрашнего. – Пусть заходит. Только не теперь. Я позову. Да, возьмите, это ваша. Я не кончила. Читала и плакала. Доктор вообще советовал бросить. Во избежание волнения.

И она опять посмотрела на мужа, который опустил голову и стал, хрустя воротником и пыжась, интересоваться, на обеих ли ногах у него сапоги и хорошо ли вычищены.

– Так-то. Ну вот. Не забудьте трость. Мы еще увидимся, надеюсь?

– О, конечно. До пятницы ведь. Сегодня какой день? – испугался он, как в таких случаях пугаются уезжающие.

– Среда, Вика, среда?. . Вика, среда?

– Среда. Escoutez, – дождался наконец своего черед отцу – demain[16] .

И оба вышли на лестницу.

V

Они шли и разговаривали, и ей приходилось время от времени впадать в легкий бежок, чтобы не отстать от Сережи и попасть ему в шаг. Они шли очень быстро, и на ней ерзало пальто, потому что в помощь ходу она работала и руками, а руки держала в карманах. Было холодно, под ее калошами звонко лопался тонкий ледок. Они шли по маминому поручению покупать подарок уезжавшему и разговаривали.

– Так его везли на станцию?

– Да.

– А почему он сидел в сене?

– То есть как?

– В телеге. Весь. С ногами. Так не сидят.

– Я уже сказал. Потому что это уголовный преступник.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Его везут на каторгу?

– Нет. В Пермь. У нас нет тюремного ведомства. Гляди под ноги.

Их путь лежал через дорогу, мимо медно-слесарного заведения. Все лето двери заведения стояли настежь, и Женя привыкла видеть этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла жарко распахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут останавливались повозки, затрудняя разъезд; топтались мужики, больше татары; валялись ведра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленные; тут чаще, чем где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар замалевав в цыган, садилось в пыль жуткое, густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цыплят; тут окунались оглоблями в пыль высвобожденные из-под кузовов передки с натертыми у шкворней кружками.

Те же ведра и железца лежали неподобные и теперь, запорошенные морозцем. Но двери были приперты вплотную, как в праздник, по случаю холодов, и было пустынно на распутьи, и только сквозь круглую отдушину шел знакомый жене дух какого-то рудничного затхлого газа, который заливался гремучим визгом и, ударяя в нос, осаждался на небе дешевой грушевой шипучкой.

– А в Перми есть тюремное правление?

– Да. Ведомство. По-моему – так идти. Ближе. В Перми есть, потому что это губернский город, а Екатеринбург – уездный. Маленький.

Дорожка мимо особняков была выложена красным кирпичиком и обрамлена кустами. На ней обозначались следы бессильного, мутного солнца. Сережа старался шагать как можно шумней.

– Если щекотать этот барбарис весной, когда он цветет, булавкой, он быстро хлопает всеми лепестками, как живой.

– Знаю.

– А ты боишься щекотки?

– Да.

– Значит, ты – нервная. Ахмедьяновы говорят, что если кто боится щекотки...

И они шли: Женя – бегом, Сережа – неестественными шагами, и на ней ерзало пальто. Они завидели Диких в ту самую минуту, как калитка, турникетом ходившая на столбе, врытом поперек дорожки, задержала их. Они завидели его издали, он вышел из того самого магазина, до которого им оставалось еще с полквартиры. Диких был не один, вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видала его где-то раз. Они разминулись не здоровавшись. Те взяли наискосок. Диких детей не заметил, он шагал в глубоких калошах и часто подымал руки с растопыренными пальцами. Он не соглашался и доказывал всеми десятью, что собеседник его... (Но где ж это она его видала? Давно. Но где? Верно, в Перми, в детстве.)

– Постой! – У Сережи случилась неприятность. Он опустился на одно колено. – Погоди.

– Зацепил?

– Ну да. Идиоты, не могут толком гвоздя забить!

– Ну?

– Погоди, не нашел где. Я знаю того хромого. Ну вот. Слава богу.

– Разорвал?

– Нет, цела, слава богу. А в подкладке дыра – это старая. Это не я. Ну, пойдем. Стой, вот только коленку вычищу. Ну ладно, пошли.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Я его знаю. Это – с Ахмедьянова двора. Негаратов. Помнишь, я рассказывал – собирает людей, всю ночь пьют, свет в окне. Помнишь? Помнишь, когда я у них ночевал? В Самойлово рождение. Ну, вот из этих. Помнишь?

Она помнила. Она поняла, что ошиблась, что в таком случае хромым не мог быть виден ей в Перми, что ей так померещилось. Но ей продолжало казаться, и в таких чувствах, молчаливая, перебирая в памяти все пермское, она вслед за братом произвела какие-то движения, за что-то взялась и что-то перешагнула и, осмотревшись по сторонам, очутилась в полусумраке прилавков, легких коробок, полок, суетливых приветствий и услуг – и... говорил Сережа.

Названия, которое им требовалось, у книгопродавца, торговавшего всех сортов табаками, не оказалось, но он успокоил их, заверив, что Тургенев обещан ему, выслан из Москвы, и уже в пути и что он только что – ну, назад минуту – говорил об этом же самом с господином Цветковым, их наставником. Детей рассмешила его верткость и то заблуждение, в котором он находился, и, попросившись, они пошли ни с чем.

Когда они вышли от него, Женя обратилась к брату с таким вопросом:

– Сережа! Я все забываю. Скажи, знаешь ты ту улицу, которую с наших дров видать?

– Нет. Никогда не бывал.

– Неправда, я сама тебя видала.

– На дровах? Ты...

– Да нет, не на дровах, а на той вот улице, за Череп-Саввическим садом.

– А, ты вот о чем! А ведь верно. Как мимо идти, показываются. За садом, в глубине. Там сараи какие-то и дрова. Погоди. Так это, значит, наш двор?! Тот двор наш? Вот ловко! А я сколько раз хожу, думал, вот бы туда забраться – раз, и на дрова, а с дров на чердак, там лестницу я видел. Так это наш собственный двор?

– Сережа, покажешь мне дорогу туда?

– Опять. Ведь двор – наш. Чего показывать? Ты сама...

– Сережа, ты опять не понял. Я про улицу, а ты про двор. Я про улицу. На улицу покажи дорогу. Покажи, как пройти. Покажешь, Сережа?

– И опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли... и вот опять скоро мимо идти.

– Что ты?

– Да то. А медник?.. На углу.

– Так та пыльная, значит...

– Ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А Череп-Саввичи – в конце, направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки.

Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о «полуде», то это такая горная порода – одним словом, руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки и обжигают горшки, и Ахмедьяновы все это умеют.

Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они и забыли: она – про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа – про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения, и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видела хромого и трех незнакомок и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромым.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Негарат уезжал вечером. Отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью, и в дворницкой его появление вызвало большой и не скоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали. Лил дождь, и гоготали кем-то упущенные гуси.

Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая, болтался и брызгал грязью гадкий дождик, подскакивали повозки, и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах.

Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром: в коляске ей было отказано. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным семенем. Но с полдороги, убедясь, что из торговой части ей одной к Дефендовым пути не найти, она повернула назад. Потом она вспомнила, что дело раннее и Лиза все равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась. Но еще не прояснило. По улице летал и листом приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города, теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади, за трехруким фонарем.

Переезжавший был, верно, человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полку, как стояли в комнате, и колеса кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как по паркету, при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки. Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились: обглоданный непогодой булыжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус в кадучке, который колыхался, нескладно кланяясь с телеги всем пролетевшим.

Воз был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полку, широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово: город, порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавший по улице и падавший в воду октябрьский холодный блеск.

«Он простудится, только разложит вещи», – подумала она про неизвестного владельца. И она представила себе человека, – человека вообще, валкой, на шаги разрозненной походкой расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его хватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг кадки, станет обтирать затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя и это представила очень живо себе. Очень живо. Воз загромычал под гору к Исети. Жене было налево.

Это происходило, верно, от чьих-то тяжелых шагов за дверь. Подымался и опускался чай в стакане на столике у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Качались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку. На которых турка... курит... трубку. Курит... трубку.

Это происходило, верно, от чьих-то шагов. Больная опять заснула.

Женя слегла на другой день после отъезда Негарата; в тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика, в тот день, когда при виде воза с мебелью она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо по поту обсыпанная трудным красным перцем, который жег и слипал ей веки и краешки губ. Ее донимала испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущением укуса. Будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней осой. Будто тонкое, в седой волосок, ее жальце осталось в ней, и его хотелось вынуть, не раз и по-разному. То из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспаленного плеча, то еще откуда.

Теперь она выздоравливала. Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, какой-то странной своей геометрии. От нее слегка кружило и поташнивало.

Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru неимоверными в стремлении сумерек принять форму площади, лежащей в основании этого помешательства пространства. Или, отделяясь от узора на обоях, оно, полосу к полосе, прогоняло перед девочкой широты, плавно, как на масле, сменявшие друг друга и тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же начала, с первой штуки в паркете, свою бездонность, и пускало кровать ко дну тихо-тихо, и с кроватью – девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась, и расSTRUивалась в нем.

Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов.

Это происходило от чьих-то шагов. Опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоях.

Наконец она проснулась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впечатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно.

Домашние входили и выходили, садились и подымались. Она задавала вопросы и получала ответы. Были вещи, переменявшиеся за ее болезнь, были оставшиеся без перемены. Этих она не трогала, тех не оставляла в покое. По-видимому, не изменилась мама. Совсем не изменился отец. Изменились: она сама, Сережа, распределение света по комнате, тишина всех остальных, еще что-то, много чего. Выпал ли снег? Нет, перепадал, таял, подмораживало, не разберешь что, голо, бесснежье. Она едва замечала, кого о чем спрашивает. Ответы бросались наперебой.

Здоровые приходили и уходили. Пришла Лиза. Препирались. Потом вспомнили, что корь не повторяется, и впустили. Побывал Диких. Она едва замечала, от кого какие идут ответы.

Когда все вышли обедать и она осталась одна с Ульяшей, она вспомнила, как рассмеялись все тогда на кухне глупому ее вопросу. Теперь она остереглась задавать подобный. Она задала умный и дельный, тоном взрослой. Она спросила, не беременна ли опять Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан, и отвернулась.

– Ми-ил!.. Дай отдохнуть. Не за все же ей, Женечка, в один уповод...

И выбежала, плохо притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, и за хохотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденщице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забрякало проворно и с задором, будто с побранок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь.

Этого спрашивать не следовало. Это было еще глупее.

VII

Что это, никак, опять тает? Значит, и сегодня выедут на колесах и в сани все еще нельзя закладывать? С холодеющим носом и зябнущими руками Женя часами простаивала у окошка. Недавно ушел Диких. Нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся. Облака облезлые и грязные, как плешивая полость. День тычется рылом в стекло, как телок в парном стойле. Чем бы не весна? Но с обеда воздух, как обручем, перехватывает сизою стужей, небо вбирается и впадает, слышно, как с присвистом дышат облака; как, стремя к зимним сумеркам, на север, обрывают пролетающие часы последний лист с деревьев, выстригают газоны, колют сквозь щели, режут грудь. Дула северных недр чернеются за домами; они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем. Но все октябрь еще только.

Но все еще только октябрь. Такой зимы не запомнят. Говорят, погибли озими и боятся голодов. Будто кто взмахнул и обвел жезлом трубы, и кровли, и скворешницы. Там будет дым, там – снег, здесь – иней. Но нет еще ни того, ни другого. Пустынные, осунувшиеся сумерки тоскуют по ним. Они напрягают глаза, землю ломит от ранних фонарей и огня в домах, как ломит голову при долгих

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru ожиданиях от тоскливого вперенья глаз. Все напряглось и ждет, дрова разнесены уже по кухням, снегом уже вторую неделю полны тучи через край, мраком чреват воздух. Когда же он, чародей, обведший все, что видит глаз, колдовскими кругами, произнесет свое заклятие и вызовет зиму, дух которой уже при дверях?

Как же, однако, они его запустили! Правда, на календарь в классной не обращали внимания. Отрывался ее, детский. Но все же! Двадцать девятое августа! Ловко! – как сказал бы Сережа. Красная цифра. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Он снимался легко с гвоздя. От нечего делать она занялась отрыванием листков. Она производила эти движения, скучая, и вскоре перестала понимать, что делает, но от поры до поры повторяла про себя: «Тридцатое, завтра – тридцать первое».

– Она уж третий день никуда из дому!..

Эти слова, раздавшиеся из коридора, вывели ее из задумчивости, она увидела, как далеко зашла в своем занятии. За самое Введение. Мать дотронулась до ее руки.

– Скажи на милость, Женя...

Дальнейшее пропало, как несказанное. Матери вперевод, словно со сна, дочь попросила госпожу Люверс произнести: «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Мать повторила, недоумевающая. Она не сказала: «Предтеича». Так говорит Аксинья.

В следующую же минуту Женю взяло диво на самое себя. Что это было такое? Кто подтолкнул? Откуда взялось? Это она, Женя, спросила? Или могла она подумать, чтоб мама?.. Как сказочно и неправдоподобно! Кто сочинил?..

А мать все стояла. Она ушам не верила. Она глядела на нее широко раскрытыми глазами. Эта выходка поставила ее в тупик. Вопрос походил на издевку; между тем в глазах у дочки стояли слезы.

Смутные ее предчувствия сбылись. На прогулке она ясно слышала, как смягчается воздух, как мякнут тучи и мягчеет чок подков. Еще не зажигали, когда в воздухе стали, вивясь, блуждать сухие серенькие пушинки. Но не успели они выехать за мост, как отдельных снежинок не стало и повалил сплошной сплывшийся лепень. Давлетша слез с козел и поднял кожаный верх. Жене с Сережей стало темно и тесно. Ей захотелось бесноваться на манер беснующейся вокруг непогоды. Они заметили, что Давлетша везет их домой только потому, что опять услышали мост под Выкорышем. Улицы стали неузнаваемы; улиц просто не стало. Сразу наступила ночь, и город, обезумев, зашевелил несметными тысячами толстых побелевших губ. Сережа подался наружу и, упершись в колено, приказал везти к ремесленному. Женя замерла от восхищения, узнав все тайны и прелести зимы в том, как прозвучали на воздухе Сережины слова. Давлетша кричал в ответ, что домой ехать надо, чтобы не замучить лошади, господа собираются в театр, придется перекидывать в сани. Женя вспомнила, что родители уедут и они останутся одни. Она решила усесться до поздней ночи поудобней за лампой с тем томом «Сказок Кота Мурлыки», что не для детей. Надо будет взять в маминой спальне. И шоколаду. И читать, посасывая, и слушать, как будет заметать улицы.

А мело уже, и не на шутку, и сейчас. Небо тряслось, и с него валились белые царства и края, им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что эти неведомо откуда падавшие страны никогда не слышали про жизнь и про землю и, полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная.

Они были упоительно ужасны, эти царства; совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя на них. А воздух шатался, хватаясь за что попало, и далеко-далеко больно-пребольно взывали будто плетью огретые поля. Все смешалось. Ночь ринулась на них, свирепея от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и слепившего ее. Все поехало врозь, с визгом, не разбирая дороги. Окрик и отклик пропадали не встретясь, гибли, занесенные вихрем на разные крыши. Мело.

Они долго топали в передней, сбивая снег с белых опухлых полушубков. А сколько воды натекло с калош на клетчатый линолеум! На столе валялось много яичной скорлупы, и перечница, вынутая из судка, не была поставлена на место, и много перцу было просыпано на скатерть, на вытекшие желтки и в жестянку с недоеденными «сердечками». Родители уже отужинали, но сидели еще в столовой, поторапливая

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru замешкавшихся детей. Их не винили. Ужинали раньше времени, собираясь в театр. Мать колебалась, не зная, ехать ли ей или нет, и сидела грустная-грустная. При взгляде на нее Женя вспомнила, что и ей ведь, собственно говоря, вовсе не весело, – она расстегнула наконец этот противный крючок, – а скорее грустно, и войдя в столовую, она спросила, куда убрали ореховый торт. А отец взглянул на мать и сказал, что никто не неволит их и тогда лучше дома остаться.

– Нет, зачем же, поедем, – сказала мать, – надо рассеяться; ведь доктор позволил.

– Надо решить.

– А где же торт? – опять ввязалась Женя и услышала в ответ, что торт не убежит, что до торта тоже есть что кушать, что не с торта же начинать, что он в шкапу; будто она только к ним приехала и порядков их не знает.

Так сказал отец и, снова обратившись к матери, повторил:

– Надо решить.

– Решено, едем. – И, грустно улыбнувшись Жене, мать пошла одеваться.

А Сережа, постукивая ложечкой по яйцу и глядя, чтобы не попасть мимо, деловито, как занятый, предупредил отца, что погода переменялась – метель, чтобы он имел это в виду, и он рассмеялся; с оттаивавшим носом у него творилось что-то неладное: он стал ерзать, доставая платок из кармана тесных форменных брюк; он высморкался, как его учил отец, «без вреда для барабанных перепонок», взялся за ложечку и, взглянув прямо на отца, румяный и умытый прогулкой, сказал:

– Как выезжать, мы видали Негаратова знакомого. Знаешь?

– Эванса? – рассеянно уронил отец.

– Мы не знаем этого человека, – горячо выпалила Женя.

– Вика! – послышалось из спальни.

Отец встал и ушел на зов. В дверях Женя столкнулась с Ульяшей, несшей к ней зажженную лампу. Вскоре рядом хлопнула соседняя. Это прошел к себе Сережа. Он был превосходен сегодня; сестра любила, когда друг Ахмедьяновых становился мальчиком, когда про него можно было сказать, что он в гимназическом костюмчике.

Ходили двери. Топали в ботах. Наконец сами уехали.

Письмо извещало, что она «дононь не была недотыкой, и чтоб, как и допрежь, просили, чего надоть»; а когда милая сестрица, увешенная поклонами и заверениями в памяти, пошла по родне распределять их поименно, Ульяша, оказавшаяся на этот раз Ульяной, поблагодарила барышню, прикрутила лампу и ушла, захватив письмо, пузырек с чернилами и остаток промасленной осьмушки.

Тогда она опять принялась за задачу. Она не заключила периода в скобки. Она продолжала деление, выписывая период за периодом. Этому не предвиделось конца. Дробь в частном росла и росла. «А вдруг корь повторяется, – мелькнуло у ней в голове. – Сегодня Диких говорил что-то про бесконечность». Она перестала понимать, что делает. Она чувствовала, что нынче днем с ней уже было что-то такое, и тоже хотелось спать или плакать, но сообразить, когда это было и что именно, не могла, потому что соображать была не в силах. Шум за окном утихал. Метель постепенно унималась. Десятичные дроби были ей в полную новинку. Справа не хватало полей. Она решила начать сызнова, писать мельче и проверять каждое звено. На улице стало совсем тихо. Она боялась, что забудет занятое у соседней цифры и не удержит произведения в уме. «Окно не убежит, – подумала она, продолжая лить тройки и семерки в бездонное частное, – а их я вовремя услышу: кругом тишина; подымутся не скоро: в шубах, и мама беременна; но вот в чем штука: 3773 повторяется, можно просто переписывать или сводить». Вдруг она припомнила, что Диких ведь и впрямь говорил ей нынче, что «не надо делить, а просто бросать прочь их». Она встала и подошла к окну.

На дворе прояснилось. Редкие хлопья приплывали из черной ночи. Они подплывали к

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru уличному фонарю, оплывали его и, вильнув, пропадали из глаз. На их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным санным ковром. Он был бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках. Женя постояла у окна, заглядевшись на те кольца и фигуры, которые выделяли у фонаря андерсеновские серебристые снежинки. Постояла-постояла и пошла в мамину комнату за «Котом». Она вошла без огня. Было видно и так. Кровля сарая обдавала комнату движущимся сверканием. Кровати леденели под вздохом этой громадной крыши и поблескивали. Здесь лежал в беспорядке разбросанный дымчатый шелк. Крошечные блузки издавали гнетущий и теснящий запах подмышников и коленкора. Пахло фиалкой, и шкаф был иссиня-черен, как ночь на дворе и как тот сухой и теплый мрак, в котором двигались эти леденеющие блистания. Одинокою бусиной сверкал металлический шар кровати. Другой был угашен наброшенной рубашкой, Женя прищурила глаза, бусина отделилась от полу и поплыла к гардеробу. Женя вспомнила, за чем пришла. С книжкой в руках она подошла к одному из окон спальни. Ночь была звездная. В Екатеринбурге наступила зима. Она взглянула во двор и стала думать о Пушкине. Она решила попросить репетитора, чтобы он ей задал сочинение об Онегине.

Сереже хотелось поболтать. Он спросил:

– Ты надушилась? Дай и мне.

Он был очень мил весь день. Очень румян. Она же подумала, что другого такого вечера, может, не будет. Ей хотелось остаться одной.

Женя воротилась к себе и взялась за «Сказки». Она прочла повесть и принялась за другую, затаив дыхание. Она увлеклась и не слыхала, как за стеной укладывался брат. Странная игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала. То оно у ней расплывалось по-рыбьему, она вешала губу, и помертвевшие зрачки, прикованные ужасом к странице, отказывались подняться, боясь найти это самое за комодом. То вдруг принималась она кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуются обороту дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась сломя голову в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик-эхо. Жене пришлось откашляться с немого надсада гортани. Нерусское имя «Мирры» вывело ее из оцепенения. Она отложила книгу в сторону и задумалась. «Вот какая зима в Азии! Что теперь делают китайцы, в такую темную ночь?» Взгляд жени упал на часы. «Как, верно, жутко должно быть с китайцами в такие потемки». Женя опять перевела взгляд на часы и ужаснулась. С минуты на минуту могли явиться родители. Был уже двенадцатый час. Она расшнуровала ботинки и вспомнила, что надо отнести на место книжку.

Женя вскочила. Она присела на кровати, тараща глаза. Это не вор. Их много, и они топчут и говорят громко, как днем. Вдруг, как зарезанный, кто-то закричал на голос, и что-то поволокли, опрокидывая стулья. Это кричала женщина. Женя понемногу признала всех; всех, кроме женщины. Поднялась невероятная беготня. Стали хлопать двери. Когда захлопывалась одна, дальняя, то казалось, что женщине затыкают рот. Но она снова распахивалась, и дом ошпаривало жгучим, полосующим визгом. Волосы встали дыбом у Жени: женщина была мать, она догадалась. Причитала Ульяша, и, раз уловив голос отца, она его более не слыхала. Куда-то вталкивали Сережу, и он орал: «Не смей на ключ!» – «Все – свои», – и, как была, Женя босиком, в одной рубашонке бросилась в коридор. Отец чуть не опрокинул ее. Он был еще в пальто и что-то, пробегая, кричал Ульяше.

– Папа!

Она видела, как побежал он назад с мраморным кувшином из ванной.

– Папа!

– Где Липа? – не своим голосом крикнул он на бегу.

Плеча на пол, он скрылся за дверью, и когда через мгновение высунулся в манжетах и без пиджака, Женя очутилась на руках у Ульяши и не услышала слов, произнесенных тем отчаянно глубоким, истошным шепотом.

– Что с мамой?

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Вместо ответа Ульяша твердила одно:

– Нельзя, Женечка, нельзя, милая, спи, усни, укройся, ляжь на бочок. А-ах, о Господи! . ми-ил! Нельзя, нельзя, – приговаривала она, укрывая ее, как маленькую, и собираясь уйти.

«Нельзя, нельзя», а чего нельзя – не говорила, и лицо у ней было мокро, и волосы растрепались. В третьей двери за ней щелкнул замок.

Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час. Это ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался там, на родительской половине. Вопли лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упали торопливые шаги и частый, осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой. Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там, в голосах, как столы под тысячей канделябров.

Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что – гости. Она считает их и все обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше. И всякий раз при этой ошибке ее охватывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а мама.

Как было не порадоваться чистому и ясному утру! Сереже мерещились игры на дворе, снежки, сражения с дворовыми ребятами. Чай им подали в классную. Сказали – в столовой полотеры. Вошел отец. Сразу стало видно, что о полотерах он ничего не знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину перемещения. Мать захворала. Нуждается в тишине.

Над белой пеленой улицы с вольным, разносчивым карканьем пролетели вороны. Мимо пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и сбивалась с шагу.

– Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты...

– Зачем? – перебила его Женя.

Но Сережа догадался – зачем, и предупредил отца:

– Чтоб не заразиться... – вразумил он сестру.

Но с улицы не дали ему кончить. Он подбежал к окошку, будто его туда поманули. Татарин, вышедший в обнове, был казист и наряден, как фазан. На нем была баранья шапка. Нагольная овчина горела жарче сафьяна. Он шел с перевалкой, покачиваясь, и оттого, верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строении человеческой ступни, так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том, ноги ли то, или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее, – в это время стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в коридор, запретив им следовать за собою, – но всего замечательнее были следки, которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной полянке. От них, лепных и опрятных, еще белей и атласней казался снег.

– Вот письмецо. Ты отдаешь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам сейчас сюда принесут. Вы выйдете с черного хода. А тебя Ахмедьяновы ждут.

– Уж и ждут? – насмешливо переспросил сын.

– Да. Вы оденетесь в кухне.

Он говорил рассеянно и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом. «Эйиох!» – остался в воздухе студеной вскрик пронесшихся санок?в. Они торопились и не попадали в рукава. От вещей пахло сундуками и сонным мехом.

– Чего ты возишься?

– Не ставь с краю. Упадет. Ну, что?

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
– Все стонет. – Горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев под пламенем ахнувшую плиту. – Не мое это дело, – возмутилась она и опять ушла в комнаты.

В худом черном ведре валялось битое стекло и желтели рецепты. Полотенца были пропитаны лохматой, комканой кровью. Они полыхали. Их захотелось затоптать, как пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода. Кругом стояли белые чаши и ступы невиданных форм, как в аптеке.

В сенях маленький Галим колот лед.

– А много его с лета осталось? – расспрашивал Сережа.

– Скоро новый будет.

– Дай мне. Ты зря крошишь.

– Для ча зря? Талчи надо. В бутылкам талчи.

– Ну! Ты готова?

Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.

VIII

У Дефендовых садились ужинать. Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло. Лампа горела мутно и покапчивала: ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась мелко и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям.

Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв, и произносил все, вплоть до твердого знака.

Припухлое горлышко лампы пылало, обложенное усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло по-зимнему. Здесь оно нарывало. На дворе – коченело, зловонное. За окном – сновало, семенило, двоясь и троясь в огоньках.

Дефендова поставила на стол печенку. Блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово «рекомендую», и Лиза трещала без умолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего дня. А теперь ей этого жаждалось. В этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям.

Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее. Но то заговаривал он с ней как с малым дитятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шуточные вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал впотьмах душу дочкиной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько ему лет. Он вознамерился, уловив безошибочно одну какую-нибудь женину черту, сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих. Вдруг она не выдержала и встав, по-детски смущаясь, пробормотала:

– Спасибо. Я, правда, сыта. Можно посмотреть картинки? – И, густо краснея при виде всеобщего недоумения, прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты: – Вальтер Скотта. Можно?

– Ступай, ступай, душенька! – зажевала бабушка, бровями приковывая Лизу к месту. – Жалко дитя, – обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женею.

Суровый комплект «Севера» кренил этажерку, и внизу тускло золотился полный Карамзин. С потолка спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенную пару потертых креслиц, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни.

Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы наворачивались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту со вчерашнего дня балкой залегшую тоску? Слезы неймут ее и поднять запруды не в силах. В помощь им она

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
стала думать о матери.

В первый раз в жизни, готовясь заночевать у чужих, она измерила глубину своей привязанности к этому дорогому, драгоценнейшему в мире существу.

Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы.

– У, егоза, пострел тебя!.. – кашляя, колыхала бабушка.

Женя поразились, как могла она раньше думать, что любит девочку, смех которой раздаётся рядом и так далек, так не нужен ей. И что-то в ней перевернулось, дав волю слезам в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях: страдающей, оставшейся стоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих, и крутимой там, позади, поездом времени, уносящим Женю.

Но совершенно, совершенно несносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной. Он врезался в память и из нее не шел. С ним соединялось все, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.

Можно было голову потерять от этого чувства, до такой степени кружила пьяная, шалая его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно; слезы текли, и она их не утирала: руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и упрямо.

Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что страшно похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стога. Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть. Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони.

Она вышла к Дефендовым, пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно. И он занялся бы составлением нового, если бы не самовар.

Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своенравие которой кончалось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место. Она решила вступить в беседу со всеми. Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное – маме. И словно подбодряемая последней: «Васса Васильевна!» – обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса...

– Можешь ты рожать?

Лиза не сразу ответила Жене.

– Тсс, тише, не кричи. Ну да, как все девочки. – Она говорила прерывистым шепотом.

Женя не видела лица подруги. Лиза шарила по столу и не находила спичек.

Она знала многим больше Жени насчет этого; она знала все, как знают дети, узнавая это с чужих слов. В таких случаях те натуры, которые облюбваны творцом, восстают, возмущаются и дичают. Без патологии им через это испытание не пройти. Было бы противоестественно обратное, и детское сумасшествие в эту пору – только печать глубокой исправности.

Однажды Лизе наговорили разных страстей и гадостей шепотом, в уголку. Она не поперхнулась слышанным, пронесла все в своем мозгу по улице и принесла домой.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Дорогой она не обронила ничего из сказанного и весь этот хлам сохранила. Она узнала все. Ее организм не запылал, сердце не забило тревоги, и душа не нанесла побоев мозгу за то, что он осмелился что-то узнать на стороне, мимо ее, не из ее собственных уст, ее, души, не спросясь.

– Я знаю. («Ничего ты не знаешь», – подумала Лиза.) Я знаю, – повторила Женя, – я не про то спрашиваю. А про то, чувствуешь ли ты, что вот сделаешь шаг – и родишь вдруг, ну вот...

– Да войди ты! – прохрипела Лиза, превозмогая смех. – Нашла где орать. Ведь с порога слышать им!

Этот разговор происходил у Лизы в комнате. Лиза говорила так тихо, что было слышно, как каплет с рукомойника. Она нашла уже спички, но еще медлила зажигать, не будучи в силах придать серьезность расходившимся щекам. Ей не хотелось обижать подругу. А ее неведение она пощадила потому, что и не подозревала, чтобы об этом можно было рассказать иначе, чем в тех выражениях, которые тут, дома, перед знакомой, не ходившей в школу, были произносимы. Она зажгла лампу. По счастью, ведро оказалось переполнено, и Лиза бросилась подтирать пол, пряча новый приступ хохота в передник, в шлепанье тряпки, и наконец расхохоталась открыто, нашедши повод. Она уронила гребенку в ведро.

Все эти дни она только и знала, что думала о своих и ждала часа, когда за ней пришлют. А за этим делом днем, когда Лиза уходила в гимназию, а в доме оставалась одна бабушка, Женя тоже одевалась и одна выходила на улицу, в проходку.

Жизнь слободы мало чем походила на жизнь тех мест, где проживали Люверсы. Бо?льшую часть дня здесь было голо и скучно. Не на чем было разгуляться глазу. Все, что ни встречал он, ни на что, кроме разве как на розгу или на помело, не годилось. Валялся уголь. Черные помои выливались на улицу и разом обелялись, обледенев. В известные часы улица наполнялась простым народом. Фабричные расплзались по снегу, как тараканы. Ходили на блоках двери чайных, и оттуда валом валил мыльный пар, как из прачечной. Странно, будто теплей становилось на улице, будто к весне оборачивалось дело, когда по ней сутуло пробегали пареные рубахи и мелькали валенки на жиденьких портах. Голуби не пугались этих толп. Они перелетали на дорогу, где тоже был корм. Мало ли сорено было по снегу просом, овсом и навозцем? Ларек пирожницы лоснился от сала и тепла. Этот лоск и жар попадали в сивухую сполоснутые рты. Сало разгорячало гортани. И потом вырывалось дорогой из часто дышавших грудей. Не это ли согревало улицу?

Так же внезапно она пустела. Наступали сумерки. Проезжали дровни порожняком, пробегали розвальни с бородачами, тонувшими в шубах, которые, шая, валили их на спину, облапив по-медвежьи. От них на дороге оставались клоки тоскливого сена и медленное, сладкое таянье удаляющегося колокольца. Купцы пропадали на повороте, за березками, отсюда походившими на раздерганный частокол.

Сюда слеталось то воронье, которое, раздольно каркая, проносилось над их домом. Только тут они не каркали. Тут, подняв крик и задрав крылья, они вприпрыжку рассаживались по заборам и потом вдруг, словно по знаку, тучею кидались разбирать деревья и, толкаясь, размещались по опростанным сукам. Ах, как чувствовалось тогда, какой поздний-поздний час на всем белом свете! Так, – ах, так, как этого не выразить никаким часам!

Так прошла неделя, и к концу другой, в четверг, на рассвете она опять его увидела. Лизина постель была пуста. Просыпаясь, Женя слышала, как за ней брякнула калитка. Она встала и, не зажигая огня, подошла к окошку. Было еще совершенно темно. Но чувствовалось, что в небе, в ветках деревьев и в движениях собак та же тяжесть, что и накануне. Эта пасмурная погода стояла уже третьи сутки, и не было сил стащить ее с обрыхлевшей улицы, как чугуна с корявой половицы.

В окошке через дорогу горела лампа. Две яркие полосы, упав под лошадь, ложились на мохнатые бабки. Двигались тени по снегу, двигались рукава призрака, запахивавшего шубу, двигался свет в занавешенном окне. Лошадка же стояла неподвижно и дремала.

Тогда она увидела его. Она сразу его узнала по силуэту. Хромой поднял лампу и стал удаляться с ней. За ним двинулись, перекашиваясь и удлиняясь, обе яркие полосы, а за полосами и сани, которые быстро вспыхнули и еще быстрее метнулись во мрак, медленно заезжая за дом к крыльцу.

Было странно, что Цветков продолжает попадаться ей на глаза и здесь, в слободе. Но Женю это не удивило. Он ее мало занимал. Вскоре лампа опять показалась и, плавно пройдясь по всем занавескам, стала было снова пятиться назад, как вдруг очутилась за самой занавеской, на подоконнике, откуда ее взяли.

Это было в четверг. А в пятницу за ней наконец прислали.

IX

Когда на десятый день по возвращении домой, после более чем трехнедельного перерыва, были возобновлены занятия, Женя узнала от репетитора все остальное. После обеда сложился и уехал доктор, и она попросила его кланяться дому, в котором он ее осматривал весной, и всем улицам, и Каме. Он выразил надежду, что больше его из Перми выписывать не придется. Она проводила до ворот человека, который привел ее в такое содрогание в первое же утро ее переезда от Дефендовых, пока мама спала и к ней не пускали, когда на ее вопрос о том, чем она больна, он начал с напоминания, что в ту ночь родители были в театре. А как по окончании спектакля стали выходить, то их жеребец...

– Выкормыш?!

– Да, если это его прозвище... Так Выкормыш, стало быть, стал биться, вздыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего и...

– Как? Насмерть?

– Увы!

– А мама?

– А мама заболела нервным расстройством, – и он улыбнулся, едва успев приспособить в таком виде для девочки свое латинское «partus praematurus»[17] .

– И тогда родился мертвый братец?

– Кто вам сказал?.. Да.

– А когда? При них? Или они застали его уже бездыханным? Не отвечайте. Ах, какой ужас! Я теперь понимаю. Он был уже мертв, а то бы я его услышала и без них. Ведь я читала. До поздней ночи. Я бы услышала. Но когда же он жил? Доктор, разве бывают такие вещи? Я даже заходила в спальню! Он был мертв. Несомненно.

Какое счастье, что это наблюдение от Дефендовых, на рассвете, было только вчера, а ужасу у театра – третья неделя! Какое счастье, что она его узнала! Ей смутно думалось, что, не попадись он ей на глаза за весь этот срок, она теперь, после докторовых слов, непременно бы решила, что у театра задавлен хромой.

И вот, прогостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал. А вечером пришел репетитор. Днем была стирка. На кухне катали белье. Иней сошел с ее рам, и сад стал вплотную к окнам, и, запутавшись в кружевных гардинах, подступил к самому столу. В разговор врывались короткие погромыхиванья валька. Диких тоже, как все, нашел ее изменившейся. Перемену заметила в нем и она.

– Отчего вы такой грустный?

– Разве? Все может быть. Я потерял друга.

– И у вас тоже горе? Сколько смертей – и все вдруг! – вздохнула она.

Но только собрался он рассказать, что имел, как произошло что-то необъяснимое. Девочка внезапно стала других мыслей об их количестве и, видно, забыв, какую опорой располагала в виденной в то утро лампе, сказала взволнованно:

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
– Погодите. Раз как-то вы были у табачника, уезжал Негарат; я вас видела еще с кем-то. Этот? – Она боялась сказать: «Цветков?»

Диких оторопел, услышав, как были произнесены эти слова, привел помянутое на память и припомнил, что действительно они заходили тогда за бумагой и спросили всего Тургенева для госпожи Люверс; и точно, вдвоем с покойным. Она дрогнула, и у ней выступили слезы. Но главное было еще впереди.

Когда, рассказав с перерывами, в которые слышался рубчатый грохот скалки, что это был за юноша и из какой хорошей семьи, Диких закурил, Женя с ужасом поняла, что только эта затяжка отделяет репетитора от повторения докторова рассказа, и, когда он сделал попытку и произнес несколько слов, среди которых было слово «театр», Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты.

Диких прислушался. Кроме катки белья, в доме не было слышно ни звука. Он встал, похожий на аиста. Вытянул шею и приподнял ногу, готовый броситься на помощь. Он кинулся отыскивать девочку, решив, что никого нет дома, а она лишилась чувств. А тем временем, как он тыкался впотьмах на загадки из дерева, шерсти и металла, Женя сидела в уголочке и плакала. Он же продолжал шарить и ощупывать, в мыслях уже подымая ее замертво с ковра. Он вздрогнул, когда за его локтями раздалось громко, сквозь всхлипывание:

– Я тут. Осторожней, там горка. Подождите меня в классной. Я сейчас приду.

Гардины опускались до полу, и до полу свешивалась зимняя звездная ночь за окном, и низко, по пояс в сугробах, волоча сверкающие цепи ветвей по глубокому снегу, брели дремучие деревья на ясный огонек в окне. И где-то за стеной, туго стянутый простынями, взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. «Чем объяснить этот избыток чувствительности? – размышлял репетитор. – Очевидно, покойный был у девочки на особом счету. Она очень изменилась. Периодические дробы объяснялись еще ребенку, между тем как та, что послала его сейчас в классную... И это дело месяца! Очевидно, покойный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое и неизгладимое впечатление. У впечатлений этого рода есть имя. Как странно! Он давал ей уроки каждый другой день и ничего не заметил. Она страшно славная, и ее ужасно жаль. Но когда же она выплечется и придет, наконец! Верно, все прочие в гостях. Ее жалко от души. Замечательная ночь!»

Он ошибался. То впечатление, которое он предположил, к делу нисколько не шло. Он не ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было неизгладимо. Оно отличалось большею, чем он думал, глубиной... оно лежало вне ведения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что в ее жизнь впервые вошел другой человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, но то, которое имеют в виду заповеди, обращаясь к именам и сознаниям, когда говорят: не убий, не крадь и все прочее. «Не делай ты, особенный и живой, – говорят они, – этому, туманному и общему, того, чего себе, особенному и живому, не желаешь». Всего грубее заблуждался Диких, думавши, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет.

А плакала Женя оттого, что считала себя во всем виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи она в тот день, когда, заметив его за чужим садом, и заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала затем встречать его на каждом шагу, постоянно, прямо и косвенно, и даже, как это случилось в последний раз, наперекор возможности.

Когда она увидела, какую книгу берет Диких с полки, она нахмурилась и заявила:

– Нет. Этого я сегодня отвечать не стану. Положите на место. Виновата: пожалуйста.

И без дальних слов. Лермонтов был тою же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков.

1918

ОХРАННАЯ ГРАМОТА
Памяти Райнера Мария Рильке

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлеталке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены с одинаковой теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами по-русски, незнакомец же говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким его никогда не слышал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымысленности.

В пути, ближе к Туле, эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловой Засеке курьерскому останавливаться нет положенья и они не уверены, скажет ли обер-кондуктор машинисту вовремя придержать у Толстых. Из следующего за тем разговора я заключаю, что им к Софье Андреевне, потому что она ездит в Москву на симфонические и еще недавно была у нас, то же бесконечно важное, что символизировано буквами гр. Л. Н. и играет скрытую, но до головоломности прокуренную роль в семье, никакому воплощению не поддается. Оно видно в слишком раннем младенчестве. Его седина, впоследствии подновленная отцовыми, репинскими и другими зарисовками, детским воображеньем давно присвоена другому старику, виденному чаще и, вероятно, позднее, – Николаю Николаевичу Ге.

Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза. Мелькают березы. Во весь раскат полотна сопят и сталкиваются тарели сцеплений. Из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо. Полуповоротом от рощи, распластываясь в русской, к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, ничего о нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощанье платками. Мы отвечаем. Еще видно, как их подсаживает ямщик. Вот, отдав барыне фартук, он привстал, краснорукавый, чтобы поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругленье, и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда.

2

Проходит три года, на дворе зима. Улицу на треть укоротили сумерки и шубы. По ней бесшумно носятся кубы карет и фонарей. Наследованью приличий, не раз прерывавшемуся и раньше, положен конец. Их смыло волной более могущественной преемственности – лицевой.

Я не буду описывать в подробностях, что ей предшествовало. Как в ощущеньи, напоминавшем «шестое чувство» Гумилева, десятилетку открылась природа. Как первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растенья явилась ботаника. Как имена, отысканные по определителю, приносили успокоенье душистым зрачкам, безвопросно рвавшимся к Линнею, точно из глухоты к славе.

Как весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок. Как первое ощущение женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидал на них форму невольниц. Как летом девятьсот третьего года в Оболенском, где по соседству жили Скрябины, купаясь, тонула воспитанница знакомых, живших за Протвой. Как погиб студент, бросившийся к ней на помощь, и она затем сошла с ума, после нескольких покушений на самоубийство с того же обрыва. Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движенья в гипсе, горели за рекой эти знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат. Как, натягиваясь, точно запущенный змей, колотилось косоугольное зарево и вдруг, свернув трубою лучинный переплет, кувыркком ныряло в кулебячные слои серо-малинового дыма.

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего со второй версты над лесною дорогой и вселявшего убеждение, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми и трехпудовой глыбой гипса, которой не поднять, не боясь навсегда ее искалечить.

Я не буду этого описывать, это сделает за меня читатель. Он любит фабулы и

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru страхи и смотрит на историю как на рассказ с не прекращающимся продолжением. Известно, желает ли он ей разумного конца. Ему по душе места, дальше которых не простиралась его прогулка. Он весь тонет в предисловиях и введениях, а для меня жизнь открывалась лишь там, где он склонен подводить итоги. Не говоря о том, что внутреннее членение истории навязано моему пониманию в образе неминуемой смерти, я и в жизни оживал целиком лишь в тех случаях, когда заканчивалась утомительная варка частей и, пообедав целым, вырывалось на свободу всей ширью оснащенное чувство.

Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем фонари. Дорогой из гимназии имя Скрябина, все в снегу, соскакивает с афиши мне на закорки. Я на крышке ранца заносу его домой, от него натекает на подоконник. Обожаешь это бьет меня жесточе и неприкрашеннее лихорадки. Завидя его, я бледнею, чтобы вслед затем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь соображения и слышу, как под общий смех отвечаю что-то невпопад, но что именно – не слышу. Я знаю, что он обо всем догадывается, но ни разу не пришел мне на помощь. Значит, он меня не щадит, и это именно то безответное, неразделенное чувство, которого я и жажду. Только оно, и чем оно горячее, тем больше ограждает меня от опустошений, производимых его непередаваемой музыкой.

Перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться. Он играет – этого не описать, – он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит. Мне все время кажется, что он томится скукой. Приступают к прощанью. Раздаются пожеланья. Кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Все это говорит на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут все опять повторяется с резюмирующей порывистостью и крючком воротника, долго не попадающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. Проходя мимо рояля, всем петельчатым свеченьем пюпитра еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые шестнадцать тактов слагаются в предложение, полное какой-то удивляющей готовности, ничем на земле не вознагражимой, как я без шубы, с непокрытой головой скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть.

Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным с ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в обличье сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, – дело наших сердец, пока мы дети.

3

Конечно, я не догнал его, да вряд ли об этом и думал. Мы встретились через шесть лет, по его возвращении из-за границы. Срок этот упал полностью на отроческие годы. А как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом ни набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаньями, порознь и кучею, днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое, и Фауст, переживший их дважды, прожил сущую невообразимость, измеримую только математическим парадоксом.

Он приехал, и сразу же пошли репетиции «Экстаза». Как бы мне хотелось теперь заменить это название, отдающее тугою мыльной оберткой, каким-нибудь более подходящим! Они происходили по утрам. Путь туда лежал разварной мглой, фуркасовским и Кузнецким, тонувшими в ледяной тьме. Сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколен. На каждой по разу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолвствовали всем воздержаньем говевшей меди. На выезде из Газетного Никитская была яйцо с коньяком в гулке омуте перекрестка. Голоса, въезжали в лужи кованые полозья, и цокал кремь под тростями концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров. Медленно наполнялся партер. Насилу загнанная в палки на зимнюю половину, музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа. Вдруг публика начинала прибывать ровным потоком, точно город очищали неприятелю. Музыку выпускали. Пестрая, несметно ломающаяся, молниеносно множащаяся, она

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru скачками рассыпалась по эстраде. Ее настраивали, она с лихорадочной поспешностью неслась к согласью и, вдруг достигнув гула неслыханной слитности, обрывалась на всем басистом вихре, вся замерев и выровнявшись вдоль рампы.

Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. На участке возводилось вымышленное лирическое жилище, материально равное всей ему на кирпич перемолотой вселенной. Над плетнем симфонии загоралось солнце Ван Гога. Ее подоконники покрывались пыльным архивом Шопена. Жильцы в эту пыль своего носа не совали, но всем своим укладом осуществляли лучшие заветы предшественника.

Без слез я не мог ее слышать. Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая, за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом.

Чем были все эти годы, как не дальнейшими превращениями живого отпечатка, отданного на произвол роста? Не удивительно, что в симфонии я встретил завидно счастливую ровесницу. Ее соседство не могло не отозваться на близких, на моих занятиях, на всем моем обиходе. И вот как оно отозвалось.

Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней – Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращенью я был учеником одного поныне здравствующего композитора. Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое, впрочем, важно лишь то, что если бы говорили и противное, все равно жизни вне музыки я себе не представлял.

Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. Отсутствие качества, ни в какой связи с обще музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. Если бы музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся современных композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер, и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне, и потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унижить ее, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке.

Тем не менее у меня было несколько серьезных работ. Теперь их предстояло показать моему кумиру. Устройство встречи, столь естественной при нашем знакомстве домами, я воспринял с обычной крайностью. Этот шаг, который при всяких обстоятельствах показался бы мне навязчивым, в настоящем случае вырос в моих глазах до какого-то кощунства. И в назначенный день, направляясь в Глазовский, где временно проживал Скрябин, я не столько вез ему свои сочинения, сколько давно превзошедшую всякое выраженье любовь и свои извинения в воображаемой неловкости, невольным поводом к которой себя сознавал. Переполненный номер четвертый тискал и подкидывал эти чувства, неумолимо неся их к страшно близившейся цели по бурому Арбату, который волокли к Смоленскому, по колено в воде, мохнатые и потные вороны, лошади и пешеходы.

4

Я оценил тогда, как вышколены у нас лицевые мышцы. С перехваченной от волненья глоткой, я мямлил что-то отсохшим языком и запивал свои ответы частыми глотками чаю, чтобы не задохнуться или не сплеховать как-нибудь еще.

По челюстным мослам и выпуклостям лба ходила кожа, я двигал бровями, кивал и улыбался, и всякий раз, как я дотрагивался у переносицы до складок этой мимики, щекотливой и садкой, как паутина, в руке у меня оказывался судорожно зажатый платок, которым я вновь и вновь отирал со лба крупные капли пота. С затылка, связанная занавесями, всем переулком дымилась весна. Впереди, промеж хозяев, удвоенной словоохотливостью старавшихся вывести меня из затруднения, дышал по чашкам чай, шипел пронзенный стрелкой пара самовар, клубилось отуманенное водой и навозом солнце. Дым сигарного окурка, волокнистый, как черепаховая гребенка, тянулся из пепельницы к свету, достигнув которого, пресыщенно полз по нему вбок, как по суконке. Не знаю отчего, но этот круговорот ослепленного воздуха, испарявшихся вафель, курившегося сахару и горевшего, как бумага, серебра нестерпимо усугублял мою тревогу. Она улеглась, когда, перейдя в залу, я очутился у рояля.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Первую вещь я играл еще с волнением, вторую – почти справясь с ним, третью – поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего.

Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом – брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Все это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово. В ссылах на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы повторить один, наиболее его привлекший. Оборот был сложен, я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая неожиданность, он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук, как его собственный.

И, опять, предпочтя красноречью факта превратности гаданья, я вздрогнул и задумал надвое. Если на признание он возразит мне: «Боря, но ведь этого нет и у меня», тогда – хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ зайдет о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее, – но я уже приступал к тревожному предмету и, перебитый на полуслове, уже глотал в ответ: «Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни настройщиков, которые наделены им?..»

Мы прохаживались по залу. Он то клал мне руку на плечо, то брал меня под руку. Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать. В образцы простоты, к которой всегда следует стремиться, он ставил свои новые сонаты, ославленные за головоломность. Примеры предосудительной сложности приводил из банальнейшей романсной литературы. Парадоксальность сравнения меня не смущала. Я соглашался, что безличье сложнее лица. Что небережливое многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что, развращенные пустотой шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Незаметно он перешел к более решительным наставленьям. Он справился о моем образовании и, узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на другой день и исполнил. А тем временем, как он говорил, я думал о происшедшем. Сделки своей с судьбою я не нарушал. О худом выходе загаданного помнил. Развенчивала ли эта случайность моего бога? Нет, никогда, – с прежней высоты она подымала его на новую. Отчего он отказал мне в том простейшем ответе, которого я так ждал? Это его тайна. Когда-нибудь, когда уже будет поздно, он подарит меня этим упущенным признаньем. Как одолел он в юности свои сомненья? Это тоже его тайна, она-то и возводит его на новую высоту. Однако в комнате давно темно, в переулке горят фонари, пора и честь знать.

Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне. Что-то рвалось и освобождалось. Что-то плакало, что-то ликовало.

Первая же струя уличной прохлады отдала домами и далями. Целое их столпотворение поднялось к небу, вынесенное с бульжника единомушием московской ночи. Я вспомнил о родителях и об их нетерпеливо готовящихся расспросах. Мое сообщение, как бы я его ни повел, никакого смысла, кроме радостнейшего, иметь не могло. Тут только, подчиняясь логике предстоявшего рассказа, я впервые как к факту отнесся к счастливым событиям дня. Мне они в таком виде не принадлежали. Действительностью становились они лишь в предназначеньи для других. Как ни возбуждала весть, которую я нес домашним, на душе у меня было неспокойно. Но все больше походило на радость сознание, что именно этой грусти мне ни во чьи уши не вложить и, как и мое будущее, она останется внизу, на улице, со всею моею, моею в этот час, как никогда, Москвой. Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу. Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым поворотом все больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой.

В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. Как высока у ней эта способность, видно из ее мифа о Ганимеди и из множества сходных. Те же воззрения вошли в ее понятие о полубоге и герое. Какая-то доля риска и трагизма, по ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть. Какие-то части зданья, и среди них основная арка

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru фатальности, должны быть заложены разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмерности. И, наконец, в каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть.

Вот отчего при гениальном, всегда неожиданном, сказочно захватывающем искусстве античность не знала романтизма.

Воспитанная на никем потом неповторенной требовательности, на сверхчеловечестве дел и задач, она совершенно не знала сверхчеловечества как личного аффекта. От этого она была застрахована тем, что всю дозу необычного, заключающуюся в мире, целиком приписывала детству. И когда по ее приему человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, поступь и обстановка считались обычными.

5

В один из ближайших вечеров, отправляясь на собрание «Сердарды», пьяного сообщества, основанного десятком поэтов, музыкантов и художников, я вспомнил, что обещал принести Юлиану Анисимову, читавшему перед тем отличные переводы из Демеля, другого немецкого поэта, которого я предпочитал всем его современникам. И опять, как не раз уже и раньше, сборник «Mir zur Feier»[18] очутился у меня в руках в труднейшую мою пору и ушел по слякоти на деревянный Разгуляй, в отсыревшее сплетенье старины, наследственности и молодых обещаний, чтобы, одурев от грачей в мезонине под тополями, вернуться домой с новой дружбой, то есть с чутьем еще на одну дверь в городе, где их было тогда еще немного. Пора рассказать, однако, как ко мне попал этот сборник. Дело в том, что шестью годами раньше, в те декабрьские сумерки, которые я принимался тут описывать дважды, вместе с бесшумной улицей, всюду подстерегавшейся таинственными ужимками снежинок, ездил на коленках и я, помогая маме в уборке отцовых этажерок. Уже пройденная тряпкой и уторканная с четырех боков печатная труба правильными рядами возвращалась на распотрошенные полки, как вдруг из одной стопы, особенно колышливой и ослушной, вывалилась книжка в серой выгоревшей обложке. По совершенной случайности я не втиснул ее назад и, подобрав с полу, взял потом к себе. Прошло много времени, и я успел полюбить книгу, как вскоре и другую, присоединившуюся к ней и надписанную отцу той же рукою. Но еще больше времени прошло, пока я однажды понял, что их автор, Райнер Мария Рильке, должен быть тем самым немцем, которого давно как-то, летом, мы оставили в пути на вертящемся отрыве забытого лесного полустанка. Я побежал к отцу проверять догадку, и он ее подтвердил, недоумевая, почему это так могло меня взволновать.

Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе непредставима. Ее пришлось бы собирать из несущественностей, свидетельствующих об уступках жалости и принуждению. Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя найти под его именем и надо искать под чужим, в биографическом столбце его последователей. Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не знает. Я не дарю своих воспоминаний памяти Рильке. Наоборот, я сам получил их от него в подарок.

6

Хотя к этому располагал рассказ, я вопроса о том, что такое музыка и что к ней приводит, не ставил. Я не сделал этого не только оттого, что, проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь кругозор залитым ею более чем на пятнадцать лет вперед и, таким образом, не имел случая пережить ее проблематику. Но еще и оттого, что она теперь перестает относиться к нашей теме. Однако того же вопроса в отношении искусства по преимуществу, искусства в целом, иными словами – в отношении поэзии, мне не обойти. Я не отвечу на него ни теоретически, ни в достаточно общей форме, но многое из того, что я расскажу, будет на него ответом, который я могу дать за себя и своего поэта.

Солнце вставало из-за Почтамта и, соскальзывая по Кисельному, садилось на Неглинке. Вызолотив нашу половину, оно с обеда перебиралось в столовую и кухню. Квартира была казенная, с комнатами, переделанными из классов. Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями развешались бездны, и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровением.

Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовными ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных. Я давал несколько грошовых уроков, чтоб не брать денег у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивении. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире. Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходившей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность, как иное увечье обрекает на акробатику. Вместе с частью моих знакомых я имел отношение к «Мусагету». От других я узнал о существовании Марбурга: Канта и Гегеля сменили Коген, Наторп и Платон.

Свою жизнь тех лет я характеризую намеренно случайно. Эти признаки я мог бы умножить или заменить другими. Однако для моей цели достаточно и приведенных. Обозначив ими вприкидку, как на расчетном чертеже, мою тогдашнюю действительность, я тут же и спрошу себя, где и в силу чего из нее рождалась поэзия. Обдумывать ответ мне долго не придется. Это единственное чувство, которое память сберегла мне во всей свежести.

Она рождалась из перебоев этих рядов, из разности их хода, из отставанья более косных и их нагроможденья позади, на глубоком горизонте воспоминанья.

Всего порывистее неслась любовь. Иногда, оказываясь в голове природы, она опережала солнце. Но так как это выдавалось очень редко, то можно сказать, что с постоянным превосходством, почти всегда соперничая с любовью, двигалось вперед то, что, вызолотив один бок дома, принималось бронзировать другой, что смывало погодой погоду и вращало тяжелый ворот четырех времен года. А в хвосте, на отступах разной дальности, плелись остальные ряды. Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая меня с тылу, он пугал и жалобил. Он исходил из оторвавшегося обихода и не то грозил затормозить действительность, не то молил примкнуть его к живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед. В этой оглядке и заключалось то, что зовется вдохновеньем. К особенной яркости, ввиду дали своего отката, звали наиболее отечные, нетворческие части существованья. Еще сильнее действовали неодушевленные предметы. Это были натурщики натюрморта, отрасли, наиболее излюбленной художниками. Копясь в последнем отдалении живой вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятие о ее движущемся целом, как всякий кажущийся нам контрастом предел. Их расположение обозначало границу, за которой удивленью и состраданью нечего делать. Там работала наука, отыскивая атомные основания реальности.

Но так как не было второй вселенной, откуда можно было бы поднять действительность из первой, взяв ее за вершки, как за волоса, то для манипуляций, к которым она сама взывала, требовалось брать ее изображение, как это делает алгебра, стесненная такой же одноплоскостностью в отношении величины. Однако это изображение всегда казалось мне выходом из затруднения, а не самоцелью. Цель же я видел всегда в пересадке изображенного с холодных осей на горячие, в пуске отжитого вслед и в нагонку жизни. Без особых отличий от того, что думаю и сейчас, я рассуждал тогда так. Людей мы изображаем, чтобы накинуть на них погоду. Погоду, или, что одно и то же, природу, – чтобы на нее накинуть нашу страсть. Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки. Так, в широчайшем значении слова, называл я искусство, поставленное по часам живого, быющего поколеньями, рода.

Вот отчего ощущение города никогда не отвечало месту, где в нем протекала моя жизнь. Душевный напор всегда отбрасывал его в глубину описанной перспективы. Там, отдуваясь, топтались облака, и, расталкивая их толпу, висел поперек неба сплывшийся дым несметных печей. Там линиями, точно вдоль набережных, окунались подъездами в снег разрушавшиеся дома. Там утлую невзрачность прозябанья перебирали тихими гитарными щипками пьянства, и, сварясь, за бутылкой вкрутую, раскрасневшиеся степенницы выходили с качающимися мужьями под ночной прибой извозчиков, точно из гогочущей горячки шаек в березовую прохладу предбанника.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Там травились и горели, обливали разлучниц кислотой, выезжали в атласе к венцу и закладывали меха в ломбарде. Там втихомолку перемигивались лаковые ухмылки рассыхавшегося уклада и в ожидании моего часа усаживались, разложив учебники, мои питомцы-второгодники, ярко окрашенные малоумьем, как шафраном. Там также сотнею аудиторий гудел и замирал серо-зеленый, полузаплеванный университет.

Скользнувши стеклами очков по стеклам карманных часов, профессора поднимали головы в обращении к хорам и потолочным сводам. Головы студентов отделялись от тужурок и на длинных шнурах повисали четными дружками к зеленому абажурам.

За этими побывками в городе, куда я ежедневно попадал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиение. Покажись я тогда врачу, он предположил бы, что у меня малярия. Однако эти приступы хронической нетерпеливости лечению хиной не поддавались. Эту странную испарину вызывала упрямая аляповатость этих миров, их отечная, ничем изнутри в свою пользу не издержанная наглядность. Они жили и двигались, точно позируя. Объединяя их в какое-то поселение, среди них мысленно высилась антенна повальной предопределенности. Лихорадка нападала именно у основания этого воображаемого шеста. Ее порождали токи, которые эта мачта посылая на противоположный полюс. Собеседуя с далекою мачтой гениальности, она вызывала из ее краев в свой поселок какого-то нового Бальзака. Однако стоило отойти от рокового шеста подальше, как наступало мгновенное успокоение.

Так, например, меня не лихорадило на лекциях Савина, потому что этот профессор в типы не годился. Он читал с настоящим талантом, выставлявшим по мере того, как рос его предмет. Время не обижалось на него. Оно не рвалось вон из его утверждений, не скакало в отдушины, не бросалось опрометью к дверям. Оно не задувало дыма назад в борова и, сорвавшись с крыши, не хваталось за крюк уносящегося во вьюгу трамвайного прицепа. Нет, с головой уйдя в английское средневековье или Робеспьеров конвент, оно увлекало за собой и нас, а с нами и все, что нам могло вообразиться живого за высокими университетскими окнами, выведенными у самых карнизов.

Я также оставался здоров в одном из номеров дешевых мебелишек, где в числе нескольких студентов вел занятия с группой взрослых учеников. Никто тут не блистал талантами. Достаточно было и того, что, не ожидая ниоткуда наследства, руководители и руководимые объединялись в общем усилии сдвинуться с мертвой точки, к которой собиралась пригвоздить их жизнь. Как и преподаватели, среди которых имелись оставленные при университете, они были для своих званий малотипичны. Мелкие чиновники и служащие, рабочие, лакеи и почтальоны, они ходили сюда затем, чтобы стать однажды чем-нибудь другим.

Меня не лихорадило в их деятельной среде, и, в редких ладах с собою, я часто заворачивал отсюда в соседний переулок, где в одном из дворовых флигелей Златоустинского монастыря целыми артелями проживали цветочники. Именно здесь запасались полною флорой Ривьеры мальчишки, торговавшие ею на Петровке вразнос. Оптовые мужики выписывали ее из Ниццы, и на месте у них эти сокровища можно было достать за совершенный бесценно. Особенно тянуло к ним с перелома учебного года, когда, открыв в один прекрасный вечер, что занятия давно ведутся не при огне, светлые сумерки марта все больше и больше зачашали в грязные номера, а потом и вовсе уже не отставали и на пороге гостиницы по окончании уроков. Не покрытая, против обыкновения, низким платком зимней ночи, улица как из-под земли вырастала у выхода с какой-то сухою сказкой на чуть шевелящихся губах. По дюжей мостовой отрывисто шаркал весенний воздух. Точно обтянутые живой кожей, очертания переулка дрожали зябкой дрожью, заждавшись первой звезды, появление которой томительно оттягивало ненасытное, баснословно досужее небо.

Вонючую галерею до потолка загромождали порошковые плетушки в иностранных марках под звучными итальянскими штемпелями. В ответ на войлочное кряхтение двери наружу выкатывалось, как за нуждой, облако белого пара, и что-то неслыханно волнуемое угадывалось уже и в нем. Напролет против сеней, в глубине постепенно понижавшейся горницы, толпились у крепостного окошка малолетние разносчики и, приняв подочтенный товар, рассовывали его по корзинкам. Там же, за широким столом, сыновья хозяина молчаливо вспарывали новые, только что с таможни привезенные посылки. Разогнутая надвое, как книга, оранжевая подкладка обнажала свежую сердцевину тростниковой коробки. Сплотившиеся путла похолодевших фиалок вынимались цельным куском, точно синие слои вяленой малаги. Они наполняли комнату, похожую на дворницкую, таким одуряющим благоуханием, что и столбы предвечернего сумрака, и пластавшиеся по полу тени казались выкроенными из

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
сырого темно-лилового дерна.

Однако настоящие чудеса ждали еще впереди. Пройдя в самый конец двора, хозяин отмыкал одну из дверей каменного сарая, поднимал за кольцо погребное творило, и в этот миг сказка про Али Бабу и сорок разбойников сбывалась во всей своей ослепительности. На дне сухого подполья разрывчато, как солнце, горели четыре репчатые молнии, и, соперничая с лампами, безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, желтых ромашек, тюльпанов и анемон. Они дышали и волновались, точно тягаясь друг с другом. Нахлынув с неожиданной силой, пыльную душистость мимоз смывала волна светлого запаха, водянистого и изнизанного жидкими иглами аниса. Это ярко, как до белизны разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные кокарды фиалок. Скрытные и полусумасшедшие, как зрачки без белка, они гипнотизировали своим безучастием. Их сладкий, непрокашлянный дух заполнял с погребного дна широкую раму лаза. От них закладывало грудь каким-то деревенистым плевритом. Этот запах что-то напоминал и ускользал, оставляя в дураках сознание. Казалось, что представление о земле, склоняющее их к ежегодному возвращению, весенние месяцы составили по этому запаху, и родники греческих поверий о Деметре были где-то невдалеке.

7

В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С.Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью. От остальных друзей, уже выдавших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового несовершеннолетья тщательно скрывал.

Зато философией я занимался с основательным увлечением, предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу. Круг предметов, читавшихся по нашей группе, был так же далек от идеала, как и способ их преподавания. Это была странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещения. Согласно ради оба направления поступались последними остатками смысла, который мог бы им еще принадлежать, взятым в отдельности. История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология же вырождалась в ветреную пустяковину брошюрного пошиба.

Молодые доценты, как Шпет, Самсонов и Кубицкий, порядка этого изменить не могли. Однако и старшие профессора были не так уж в нем виноваты. Их связывала необходимость читать популярно до азбучности, сказавшаяся уже и в те времена. Не доходя отчетливо до сознания участников, кампания по ликвидации неграмотности была начата именно тогда. Сколько-нибудь подготовленные студенты старались работать самостоятельно, все более и более привязываясь к образцовой библиотеке университета. Симпатии распределялись между тремя именами. Большая часть увлекалась Бергсоном. Приверженцы геттингенского гуссерлианства находили поддержку в Шпете. Последователи Марбургской школы были лишены руководства и, предоставленные самим себе, объединялись случайными разветвлениями личной традиции, шедшей еще от С. Н. Трубецкого.

Замечательным явлением этого круга был молодой Самарин. Прямой отпрыск лучшего русского прошлого, к тому же связанный разными градациями родства с историей самого здания по углам Никитской, он раза два в семестр заявлялся на иное собрание какого-нибудь семинария, как отделенный сын на родительскую квартиру в час общего обеденного сбора. Референт прерывал чтение, дожидаясь, пока долговязый оригинал, смущенный тишиной, которую он вызвал и сам растягивал выбором места, взберется по трескучему помосту на крайнюю скамью дощатого амфитеатра. Но только начиналось обсуждение доклада, как весь грохот и скрип, втащенный только что с таким трудом под потолок, возвращался вниз в обновленной и неузнаваемой форме. Придравшись к первой оговорке докладчика, Самарин обрушивал оттуда какой-нибудь экспромт из Гегеля или Когена, скатывая его как шар по ребристым уступам огромного ящичного склада. Он волновался, проглатывал слова и говорил прирожденно громко, выдерживая голос на той ровной, всегда одной, с детства до могилы усвоенной ноте, которая не знает шепота и крика и вместе с округлой картавостью, от нее неотделимой, всегда разом выдает породу. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспомнил о нем, когда, перечитывая Толстого, вновь столкнулся с ним в Нехлюдове.

8

Хотя у летней кофейни на Тверском бульваре не было своего названья, звали ее все
Страница 151

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru «Safe grec». Ее не закрывали на зиму, и тогда ее назначение становилось странно загадкой. Однажды не сговариваясь, по случайности, сошлись в этом голом павильоне Локс, Самарин и я. Мы были единственными его посетителями не только в тот вечер, но, может быть, и за весь истекший сезон. Дело переламывалось к теплу, потягивало весной. Только появился и едва подсел к нам Самарин, как зафилософствовал и, вооружась сухим бисквитом, стал отбивать им, как регентским камертоном, логические члененья речи. Поперек павильона протянулся кусок Гегелевой бесконечности, составленной из сменяющихся утверждений и отрицаний. Вероятно, я сказал ему о теме, которую избрал для кандидатского сочинения, вот он и соскочил с Лейбница и математической бесконечности на диалектическую. Вдруг он заговорил о Марбурге. Это был первый рассказ о самом городе, а не о школе, какой я услышал. Впоследствии я убедился, что о его старине и поэзии говорить иначе и нельзя, тогда же, под стрекотанье вентиляционной вертушки, мне это влюбленное описание было в новинку. Внезапно он спохватился, что шел сюда не кофейничать и только на минуту, вспугнул хозяйина, дремавшего в углу за газетой, и, узнав, что телефон в неисправности, вывалился из обледенелого скворешника еще шумнее, чем ввалился. Вскоре поднялись и мы. Погода переменялась. Поднявшийся ветер стал шпарить февральскою крупкою. Она ложилась на землю правильными мотками, восьмеркой. Было в ее яростном петляньи что-то морское. Так, мах к маху, волнистыми слоями складывают канаты и сети. Дорогой Локс несколько раз заговаривал на свою любимую тему о Стендале, я же отмалчивался, чему немало способствовала метель. Я не мог позабыть о слышанном, и мне жалко было городка, которого, как я думал, мне никогда, как ушей своих, не видеть.

Это было в феврале, а в апреле месяце как-то утром мама объявила, что скопила из заработков и сберегла на хозяйстве двести рублей, которые мне и дарит с советом съездить за границу. Не изобразить ни радости, ни полной неожиданности подарка, ни его незащищенности. Фортепьянного брэнчання по такой сумме надо было натерпеться немало. Однако отказываться у меня не было сил. Выбирать маршрут не приходилось. Тогда европейские университеты находились в постоянной осведомленности друг о друге. Начав в тот же день беготню по канцеляриям, я вместе с немногочисленными документами унес с Моховой некоторое сокровище. Это был двумя неделями раньше отпечатанный в Марбурге подробный перечень курсов, предположенных к чтению на летнем семестре 1912 года. Изучая проспект с карандашом в руке, я не расставался с ним ни на ходу, ни за решетчатыми стойками присутствий. От моей потерянности за версту разило счастьем, и, заражая им секретарей и чиновников, я, сам того не зная, подгонял и без того несложную процедуру.

Программа у меня, разумеется, была спартанская. Третий, а за границей, если придется, и четвертый класс, поезда последней скорости, комната в какой-нибудь подгородной деревушке, хлеб с колбасой да чай. Мамино самопожертвование обязывало к удесятеренной жадности. За ее деньги следовало попасть еще и в Италию. Кроме того, я знал, что очень чувствительную долю поглотит вступительный взнос в университет и оплата отдельных семинариев и курсов. Но если б у меня денег было и вдесятеро больше, я по тем временам от этой росписи не отступил бы. Я не знаю, как распорядился бы остатком, но ничто бы на свете меня тогда во второй класс не перевело и никаких следов на ресторанной скатерти оставить не склонило. Терпимость в отношении удобств и потребность в уюте появились у меня только в послевоенное время. Оно наставило таких препятствий тому миру, который не допускал в мою комнату никаких прикрас и поблажек, что временно не мог не измениться и весь мой характер.

9

У нас сходил еще снег, и небо кусками выплывало из-под наста на воду, как выскользнувшая из-под кальки переводная картинка, а по всей Польше жарко цвели яблони, и она неслась с утра на ночь и с запада на восток, по-летнему бессонная, какой-то романской частью славянского замысла.

Берлин показался мне городом подростков, получивших накануне в подарок тесаки и каски, трости и трубки, настоящие велосипеды и сюртуки, как у взрослых. Я застал их на первом выходе, они не привыкли еще к перемене, и каждый важничал тем, что ему вчера выпало на долю. На одной из превосходнейших улиц меня окликнуло из книжной витрины Наторпово руководство по логике, и я вошел за ним с ощущением, что увижу завтра автора въяве. Из двух суток пути я провел уже одну ночь без сна на немецкой территории, теперь мне предстояла другая.

Откидные полаты в третьем классе заведены только у нас в России, за границей же

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru за дешевое передвижение приходится отдуваться ночами, клюя носом вчетвером на глубоко отделенной и разделенной подлокотниками скамейке. Хотя на этот раз обе лавки отделены были к моим услугам, мне было не до сна. Лишь изредка с большими перерывами входили на перегон-другой отдельные пассажиры, больше студенты, и, безмолвно откланявшись, проваливались в теплую ночную неизвестность. При каждой их смене под крыши перронов вкатывались спящие города. Исконное средневековое открывалось мне впервые. Его подлинность была свежа и страшна, как всякий оригинал. Лязгая знакомыми именами, как голой сталью, путешествие вынимало их одно за другим из читанных описаний, точно из пыльных ножен, изготовленных историками.

На подлете к ним поезд вытягивался кольчужным чудом из десяти клепаных кузовов. Кожаный напуск переходов вспучивался и обвисал кузнечными мехами. Заляпанное огнями вокзала, в чистых бокалах ясно лучилось пиво. По каменным платформам плавно удалялись порожняком багажные тележки на толстых и точно каменных катках. Под сводами колоссальных дебаркадеров потели торсы короткорылых локомотивов. Казалось, что на такую высоту их занесла игра низких колес, нежданно замерших на полном заводе.

Отовсюду к пустынному бетону тянулись его шестисотлетние предки. Четвертованные косыми балками трельяжа стены разминали свою сонную роспись. На них теснились пажи, рыцари, девушки и рыжебородые людоеды, и клетчатая дранка шпалерника повторялась, как орнамент, на решетчатых наличниках шлемов, в разрезах шарообразных рукавов и в крестчатой шнуровке корсажей. Дома подступали почти вплотную к опущенному окну. Вконец потрясенный, я лежал на его широком ребре, зашептываясь до самозабвения коротким восклицанием восторга, теперь устаревшим. Но было еще темно, и скачущие лапы дикого винограда едва чернелись на штукатурке. Когда же вновь ударял ураган, отзывавшийся углем, росой и розами, то, внезапно обданный горстью искр из рук увлеченно несшейся ночи, я быстро поднимал окно и задумывался о непредвидимостях завтрашнего дня. Но надо хоть как-нибудь сказать о том, куда и зачем я ехал.

Создание гениального Когена, подготовленное его предшественником по кафедре Фридрихом Альбертом Ланге, известным у нас по «истории материализма», Марбургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основания и строило на чистом месте. Оно не разделяло ленивой рутины всевозможных «измов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук, всегда невежественных и всегда, по тем или другим причинам, боящихся пересмотра на вольном воздухе вековой культуры. Неподчиненная терминологической инерции Марбургская школа обращалась к первоисточникам, т. е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки. Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология – о том, как думает средний человек, если формальная логика учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком, как бы авторизованном самой историей, расположении философия вновь молодела и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каковой ей и надлежит быть.

Вторая особенность Марбургской школы прямо вытекала из первой и заключалась в ее разборчивом и взыскательном отношении к историческому наследству. Школе чужда была отвратительная снисходительность к прошлому, как к некоторой богадельне, где кучка стариков в хламидах и сандалиях или париках и камзолах врет непроглядную отсебятину, извинимую причудами коринфского ордера, готики, барокко или какого-нибудь иного зодческого стиля. Однородность научной структуры была для школы таким же правилом, как анатомическое тождество исторического человека. Историю в Марбурге знали в совершенстве и не уставали тащить сокровище за сокровищем из архивов итальянского Возрождения, французского и шотландского рационализма и других плохо изученных школ. На историю в Марбурге смотрели в оба гегельянских глаза, т. е. гениально обобщенно, но в то же время и в точных границах здравого правдоподобья. Так, например, школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой переписке семьи Бернулли, но при этом она знала, что всякая мысль сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию. В противном случае она теряет для нас непосредственный интерес и поступает в ведение археолога или историка костюмов, нравов, литератур, общественно-политических веяний и прочего.

Обе эти черты самостоятельности и историзма ничего не говорят о содержании Когеновой системы, но я не собирался да и не взялся бы говорить о ее существовании. Однако обе они объясняют ее притягательность. Они говорят о ее оригинальности, т. е. о живом месте, занятом ею в живой традиции для одной из частей современного сознания.

Как одна из его частиц, я мчался к центру притяжения. Поезд пересекал Гарц. Дымным утром, выскочив из лесу, промелькнул средневековым углекопом тысячетный Гослар. Позже пронесся Геттинген. Имена городов становились все громче. Большинство из них поезд отшвыривал с пути на всем лету, не нагибаясь. Я находил названия этих откатывающихся волчков на карте. Вокруг иных подымались стародавние подробности. Они вовлекались в их круговорот, как звездные спутники и кольца. Иногда горизонт расширялся, как в «Страшной мести», и, дымясь сразу в несколько орбит, земля в отдельных городках и замках начинала волновать, как ночное небо.

10

Два года, предшествовавших поездке, слово Марбург не сходило у меня с языка. Упоминание о городе в главах о Реформации имелось в каждом учебнике для средней школы. Книжечка о Елизавете Венгерской, погребенной в нем в начале XIII века, была «Посредником» издана даже для детей. Любая биография Джордано Бруно в числе городов, где он читал на роковом пути из Лондона на родину, называла и Марбург. Между тем, как это ни маловероятно, я ни разу в Москве не догадался о тождестве, существовавшем между Марбургом этих упоминаний и тем, ради которого я грыз таблицы производных и дифференциалов и с Мак-Лоррена перескакивал на Максвелла, окончательно мне недоступного. Надо было, подхватя чемодан, пройти мимо рыцарской гостиницы и старой почтовой станции, чтобы оно встало передо мной впервые.

Я стоял, заламая голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. Я вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне и ее теперь вместе с крюками, сетками и пепельницами назад не воротить. Над башенными часами празднично стояли облака. Место казалось им знакомым. Но и они ничего не объясняли. Был видно, что, как сторожа этого гнезда, они никуда отсюда не отлучаются. Царила полуденная тишина. Она сносила с тишиной простершейся внизу равнины. Обе как бы подводили итог моему обалдению. Верхняя пересылалась с нижней томительными веяньями сирени. Выжидательно чирикали птицы. Я почти не замечал людей. неподвижные очертанья кровель любопытствовали, чем все это кончится.

Улицы готическими карлицами лепились по крутизнам. Они располагались друг под другом и своими подвалами смотрели на чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчатого зодчества. Расширяющиеся кверху этажи лежали на выпущенных бревнах и, почти соприкасаясь кровлями, протягивали друг другу руки над мостовой. На них не было тротуаров. Не на всех можно было разойтись.

Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим самым мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые, с письмом к Лейбнице ученику Христиану Вольфу, и никого еще тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же неожиданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней. И, повернув голову, можно было потрястись, повторяя в точности одно, страшно далекое, телодвижение. Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, замороженную на живом слете к сменной кормушке. Я трепетал, справляя двухсотлетие чужих шейных мышц. Придя в себя, я заметил, что декорация стала реальностью, и отправился разыскивать дешевую гостиницу, указанную Самариним.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних по Гиссенской дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городком, шоссе пропадало за лесом.

При комнате был дрянной балкончик, выходивший на соседний огород. Там стоял

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
снятый с осей вагон старой марбургской конки, превращенный в курятник.

Комнату сдавала старушка чиновница. Она жила вдвоем с дочерью на тощую вдовью пенсию. Мать и дочь были на одно лицо. Как бывает всегда с женщинами, пораженными базедовой болезнью, они перехватывали мой взгляд, воровски устремленный на их воротнички. В эти мгновенья мне воображались детские воздушные шары, собранные к кончику ухом и натуго перевязанные. Может быть, они об этом догадывались.

Их глазами, из которых хотелось выпустить немного воздуха, положив им ладонь на горло, смотрел в мир старый прусский пиетизм.

Однако для данной части Германии этот тип был не характерен. Здесь господствовал другой, среднегерманский, и даже в природу закрадывались первые подозренья о юге и западе, о существовании Швейцарии и Франции. И было очень кстати перед лицом ее листовенных догадок, зеленевших в окне, перелистывать французские томы Лейбница и Декарта.

За полями, подступавшими к мудреному птичнику, виднелась деревня Окерсгаузен. Это было длинное становище длинных риг, длинных телег и здоровенных першеронов. Оттуда вдоль по горизонту тащилась другая дорога. По вступлении в город она окрещивалась *Barfÿsserstrasse*. Босомыгами же в средние века звали монахов францисканцев.

Вероятно, по ней именно каждый год приходила сюда зима. Потому что, глядя в ту сторону с балкона, можно было представить себе много подходящего. Ганса Сакса. Тридцатилетнюю войну. Сонную, а не волнующую природу исторического бедствия, когда оно измеряется десятилетиями, а не часами. Зимы, зимы, зимы, и потом, по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда, первое возникновение новых поселений под бродячими небесами, где-нибудь в дали одичавшего Гарца, с черными, как пожарища, именами, вроде *E'lend, Sorge*[19] и тому подобными.

Сзади, в стороне от дома, подминая под себя кусты и отраженья, протекала река Лан. За ней тянулось полотно железной дороги. Вечерами в глухое сопенье кухонной спиртовки врывалось учащенное позвякиванье механического колокола, под звон которого сам собою опускался железнодорожный шлагбаум. Тогда в темноте у переезда вырастал человек в мундире, в предупреждение пыли быстро опрыскивавший его из лейки, и в тот же миг поезд проносился мимо, судорожно бросаясь вверх, вниз и во все стороны сразу. Снопы его барабанного света попадали в хозяйские кастрюли. И всегда пригорало молоко.

На речное масло Лана соскальзывала звезда-другая. В Окерсгаузене ревел только что пригнанный скот. На горе по-оперному вспыхивал Марбург. Если бы могло так случиться, что братья Гримм опять, как сто лет назад, приехали сюда изучать право у знаменитого юриста Савиньи, они сызнова уехали бы отсюда собирателями сказок. Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я отправлялся в город.

Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все точно выступали в Вагнеровых «Мейстерзингерах». Дома, казавшиеся декорациями уже и днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены на стену, негде было разгуляться. Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он обливал гул удалявшихся пяток и взрывы громкой немецкой речи лилиевидными бликами. Точно электричество знало преданье, сложенное об этом месте.

Давным-давно, лет за полтысячи до Ломоносова, когда новым годом, годом повседневности, был на земле тысяча двести тридцатый год, сверху, из Марбургского замка, по этим склонам спускалось живое историческое лицо – Елизавета Венгерская.

Это такая даль, что если ее достигнуть воображеньем, в точке прибытья сама собой подымется снежная буря. Она возникнет от охлаждения, по закону побежденной недосыгаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери. Людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой.

У будущей святой, канонизированной спустя три года после смерти, был духовником тиран, то есть человек без воображенья. Трезвый практик видел, что истязанья, налагаемые на исповедницу, приводят ее в состоянье восхищенья. В поисках

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и больным. Тут историю сменяет легенда. Будто бы это было ей не под силу. Будто, чтобы обелить грех ослушанья, снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов.

Так приходится иногда природе отступить от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполнении своих. Это ничего, что голос естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху.

У нас – свой, но нашей защитницей против казуистики природа быть не перестанет.

По мере приближенья к университету улица, летевшая под гору, все больше кривела и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в золе веков, подобно картошке, имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводивший на один из северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками, залитая электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойств ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышеньи в том виде, какой принял к середине шестнадцатого столетья. Низина же, растравлявшая ее душевный покой, низина, заставлявшая ее нарушать устав, низина, по-прежнему приводимая в движение чудесами, шагала в полную ногу с временем.

С нее тянуло ночной сыростью. На ней бессонно громыхало железо, и, стекаясь и растекаясь, мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий визг лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось. Что-то ерзало и заволакивалось крашеным дымом.

Кафе посещалось преимущественно философами. У других были свои. На террасе сидел Г-в и Л-ц и немцы, впоследствии получившие кафедры у себя и за границей. Среди датчан, англичанок, японцев и всех тех, что съехались со всех концов света послушать Когена, уже раздавался знакомый, разгоряченно певучий голос. Это адвокат из Барселоны, ученик Штаммлера, деятель недавней испанской революции, второй год пополнявший здесь свое образование, декламировал своим знакомым Верлена.

Уже я тут многих знал и никого не дичился. Уже увязив язык в двух обещаньях, я с тревогой готовился к дням, когда буду отчитываться по Лейбницу у Гартмана и по одной из частей «Критики практического разума» у главы школы. Уже образ последнего, давно угаданный, но оказавшийся страшно недостаточным при первом знакомстве, стал моей собственностью, то есть повел во мне произвольное существованье, меняясь сообразно тому, погружался ли он на дно моего бескорыстного восхищенья или же всплывал на поверхность, когда я с бредовым честолюбьем новичка гадал о том, буду ли я им когда-нибудь замечен и приглашен на один из его воскресных обедов. Последнее сразу подымало человека в здешнем мненьи, потому что знаменовало собою начало новой философской карьеры.

Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятии бессмертия, и поведет рукой по воздуху в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских полей. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво подъехав к докантовой метафизике, разворкуется он, ферлякурничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатив ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утомленно и миролюбиво: «Und nun, meine Herrn...»[20] и это будет значить, что выговор веку сделан, представление кончилось и можно перейти к предмету курса.

Между тем на террасе никого почти не оставалось. На ней гасили электричество. Обнаруживалось, что уже утро. Взглянув вниз, за перила, мы убеждались, что ночной низины как не бывало. Замещавшая ее панорама ничего не знала о своей ночной предшественнице.

2

В это время в Марбург приехали сестры В-е. Они были из богатого дома. Я в Москве еще в гимназические годы дружил со старшей и давал ей нерегулярные уроки

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru неведомо чего. Вернее, в доме оплачивали мои беседы на самые непредвиденные темы.

Но весной 1908 года совпали сроки нашего окончания гимназии, и одновременно с собственной подготовкой я взялся готовить к экзаменам и старшую В-ю.

Большинство моих билетов содержало отдели, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне не хватало ночей на их прохожденье. Однако урывками, не разбирая часов и чаще всего на рассвете, я забегал к В-й для занятий предметами, всегда расхोдившимся с моими, потому что порядок наших испытаний в разных гимназиях, естественно, не совпадал. Эта путаница осложняла мое положенье. Я ее не замечал. О своем чувстве к В-й, уже не новом, я знал с четырнадцати лет.

Это была красивая, милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой французенкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря проносил со двора ее любимице, скорее Абеярова, чем Эвклидова. И, весело, подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанью я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю.

Это было то время года, когда в горшочках с кипятком распускают краску, а на солнце, представленные себе самим, праздно греются сады, загроможденные сваленным отовсюду снегом. Они до краев налиты тихой, яркою водой. А за их бортами, по ту сторону заборов стоят шеренгами вдоль горизонта садовники, грачи и колокольни и обмениваются на весь город громкими замечаньями слова по два, по три в сутки. О створку форточки трется мокрое, шерстисто-серое небо. Оно полно неушедшей ночи. Оно молчит часами, молчит, молчит, да вдруг возьмет и вкочит в комнату круглый грохоток тележного колеса. Он обрывается так внезапно, точно это палочка-выручалочка и у телеги другого дела не было, как с мостовой в форточку. Так что теперь ей больше не водить. И еще загадочнее праздная тишина, ключами вливающаяся в дыру, вырубленную звуком.

Не знаю, отчего все это запечатлелось у меня в образе классной доски, не дочиста оттертой от мела. О, если бы остановили нас тогда и, отмыв доску до влажного блеска, вместо теорем о равновеликих пирамидах, каллиграфически, с нажимами изложили то, что нам предстояло обоим. О, как бы мы обомлели!

Откуда же это соображенье и отчего оно мне тут явилось?

Оттого, что была весна, вчерне заканчивавшая выселенье холодного полугодья, и кругом на земле, как неразвешанные зеркала, лицом вверх, лежали озера и лужи, говорившие о том, что безумно емкий мир очищен и помещенье готово к новому найму. Оттого, что первому, кто пожелал бы тогда, дано было вновь обнять и пережить всю, какая только есть на свете, жизнь. Оттого, что я любил В-ю.

Оттого, что уже одна заметность настоящего есть будущее, будущее же человека есть любовь.

З

Но на свете есть так называемое возвышенное отношенье к женщине. Я скажу о нем несколько слов. Есть необозримый круг явлений, вызывающих самоубийства в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображенья, детских извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. Я побывал в этом кругу и в нем позорно долго пробыл. Что же это такое?

Он истерзывает, и, кроме вреда, от него ничего не бывает. И, однако, освобожденья от него никогда не будет. Все входящие людьми в историю всегда будут проходить через него, потому что эти сонаты, являющиеся преддверьем к единственно полной нравственной свободе, пишут не Толстые и Ведекинды, а их руками – сама природа. И только в их взаимопротиворечьи – полнота ее замысла.

Основав материю на сопротивленьи и отделив факт от мнимости плотиной, называемой любовью, она, как о целости мира, заботится о ее прочности. Здесь пункт ее

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru помешательства, ее болезненных преувеличений. Тут, поистине можно сказать, она, что ни шаг, делает из мухи слона.

Но, виноват, слонов-то ведь она производит взаправду! Говорят, это главное ее занятие. Или это фраза? А история видов? А история человеческих имен? И ведь изготавливает-то она их именно тут, в зашлюзованных отрезках живой эволюции, у плотин, где так разыгрывается ее встревоженное воображение!

Нельзя ли в таком случае сказать, что в детстве мы преувеличиваем и у нас расстраивается воображение, потому что в это время, как из мух, природа делает из нас слонов?

Держась той философии, что только почти невозможное действительно, она до крайности затруднила чувство всему живому. Она по-одному затруднила его животному, по-другому – растению. В том, как она затруднила его нам, сказало ее захватывающее высокое мнение о человеке. Она затруднила его нам не какими-нибудь автоматическими хитростями, но тем, что на ее взгляд обладает для нас абсолютной силой. Она затруднила его нам ощущением нашей мушиной пошлости, которое охватывает каждого из нас тем сильнее, чем мы дальше от мухи. Это гениально изложено Андерсеном в «Гадком утенке».

Всякая литература о поле, как и самое слово «пол», отдают несносной пошлостью, и в этом их назначенье. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств бы не пополнило.

Какой бы матерьял ни поставляла наша мысль по этому поводу, судьба этого матерьяла в ее руках. И с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам ото всего своего целого, природа всегда распоряжается этим матерьялом так, что все усилия педагогов, направленные к облегчению естественности, ее неизменно отягощают, и так это и надо.

Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать. Не эту оторопь, так другую. И безразлично, из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Движение, приводящее к зачатию, есть самое чистое из всего, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью.

И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, – больше человека. Он может зародиться только на ходу, и притом не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону.

Что делает честный человек, когда говорит только правду? За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстаёт, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек?

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается: только образ поспекает за успехами природы.

По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному развитию.

Только искусство, твердя на протяжении веков о любви, не поступает в распоряжение инстинкта для пополнения средств, затрудняющих чувство. Взяв барьер нового душевного развития, поколение сохраняет лирическую истину, а не отбрасывает, так что с очень большого расстояния можно вообразить, будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений.

Все это необыкновенно. Все это захватывающе трудно.

Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила.

4

Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я – в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были не похожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками пониманья случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обоих видели вместе со мной на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда.

Накануне, накрывая к ужину, кельнер сказал мне: «Das ist wohl ihr Henkersmahl, nicht wahr?», то есть: «Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?»

Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив, она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и – отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум. Это поволокли сундук из соседнего номера. Затем постучались к нам. Я быстро привел себя в порядок. Пора было отправляться на вокзал. До него было пять минут ходу.

Там уметь прощаться совсем оставило меня. Лишь только я понял, что простился с одной младшей, со старшей же еще и не начинал, у перрона вырос плавно движущийся курьерский из Франкфурта. Почти в том же движеньи, быстро приняв пассажиров, он быстро взял с места. Я побежал вдоль поезда и у конца перрона, разбежавшись, вскочил на вагонную ступеньку. Тяжелая дверца не была захлопнута. Разъяренный кондуктор преградил мне дорогу, в то же время держа меня за плечо, чтобы я, чего доброго, не вздумал жертвовать жизнью, устыдившись его резонов. Изнутри на площадку выбежали мои путешественницы. Кондуктору стали совать кредитки мне в избавленье и на покупку билета. Он смилостивился, я прошел за сестрами в вагон. Мы мчались в Берлин. Сказочный праздник, едва не прервавшийся, продолжался, удесятеренный бешенством движенья и блаженной головной болью от всего только что испытанного.

Я вспрыгнул на ходу только для того, чтобы проститься, и снова забыл об этом, и опять вспомнил, когда было уже поздно. Не успел я опомниться, как прошел день, настал вечер и, прижав нас к земле, на нас надвинулся гулко дышащий навес берлинского дебаркадера. Сестер должны были встретить. Было нежелательно, чтобы при моих расстроенных чувствах их видели вместе со мной. Меня убедили, что прощанье наше состоялось и только я его не заметил. Я потонул в толпе, сжатой газообразными гулами вокзала.

Была ночь, моросил скверный дождик. До Берлина мне не было никакого дела. Ближайший поезд в нужном мне направлении отходил поутру. Я свободно мог бы дожидаться его на вокзале. Но мне невозможно было оставаться на людях. Лицо мое подергивала судорога, к глазам поминутно подступали слезы. Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощанья осталась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня, с тем чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегченьи мне было отказано.

Была ночь, моросил скверный дождик. На привокзальном асфальте было так же дымно, как на дебаркадере, где мячом в веревочной сетке пучилось в железе стекло шатра. Перецокивание улиц походило на углекислые взрывы. Все было затянато тихим броженьем дождя. По непредвиденности оказии я был в чем вышел из дому, то есть без пальто, без вещей, без документов. Из номеров меня выпроваживали с одного взгляда, вежливо отговариваясь их переполненностью. Нашлось наконец место, где легкость моего хода не составила препятствий. Это были номера последнего разбора. Оставшись один в комнате, я сел боком на стул, стоявший у окна. Рядом был столик. Я уронил на него голову.

Зачем я так подробно обозначаю свою позу? Потому, что я пробыл в ней всю ночь. Изредка, точно от чьего-то прикосновенья, я подымал голову и что-то делал со стеной, широко уходившей вкось от меня под темный потолок. Я, как саженью, промерял ее снизу своей неглядящей пристальностью. Тогда рыданья возобновлялись. Я вновь падал лицом на руки.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru я обозначил положение моего тела с такой точностью, потому что это было его утреннее положение на ступеньке летевшего поезда и оно ему запомнилось. Это была поза человека, отвалившегося от чего-то высокого, что долго держало его и несло, а потом упустило и, с шумом пронеслось над его головой, скрылось навеки за поворотом.

Наконец я стал на ноги. Я оглядел комнату и распахнул окно. Ночь прошла, дождь повис туманной пылью. Нельзя было сказать, идет ли он или уже перестал. За номер было заплачено вперед. В вестибюле не было ни души. Я ушел, никому не сказавшись.

5

Тут только бросилось мне в глаза то, что началось, вероятно, раньше, но все время заслонялось близостью случившегося и уродливостью того, как плачет взрослый человек.

Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставить.

Туман рассеялся, обещая жаркий день. Мало-помалу город стал приходить в движение. По всем направлениям заскользили тележки, велосипеды, фургоны и поезда. Над ними незримо султанами змеились людские планы и вожделья. Они дымилась и двигались со сжатостью близких и без объяснения понятных притч. Птицы, дома и собаки, деревья и лошади, тюльпаны и люди стали короче и отрывистой, чем их знало детство. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим огромным летним небом. Но об этом пока не говорилось. Временно мне все прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утра его доверье. И все кругом было до головокруженья надежно, как закон, согласно которому по таким ссудам никогда в долг не остаются.

Достав без труда билет, я занял место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург, но на этот раз, в отличие от первого, ехал днем, на готовое и – совершенно другим человеком. Я ехал с удобством на деньги, заимообразно взятые у В., и образ моей марбургской комнаты то и дело мысленно вставал предо мною.

Против меня, задом к цели движенья, куря, качались в ряд: человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носу в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с ягдташем через плечо и ружьем на дне вещевого сетки, и еще кто-то, и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбургской комнаты, мысленно видевшейся мне. Род моего молчанья их гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной, я состоял в пути при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту, каждым любимую. А то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участием за то, что я скорее любезно третировал их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделенью, чем в нем сидел. Ласки и собачьего чутья в купе было больше, чем сигарного и паровозного дыму, навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбургской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. По какой же именно причине?

Недели за две до наезда сестер произошла безделица, для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне. Они получили одобренье.

Меня уговорили подробнее развить свои положенья и представить их еще в исходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром.

Но именно по этому пылу искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я переживал изученье науки сильнее, чем это требуется предметом. Какое-то растительное мышление сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятие, безмерно разворачиваясь в моем толковании, начинало требовать для себя пищи и ухода, и когда я под его влиянием обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанию, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображенья, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писанья она обрастала все сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы матерьялизовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещенья подобьем древовидного папоротника, налегая своими листовыми разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить их значило разорвать ход моей аргументации, полная же их уборка была равносильно сожжению неперебеленной рукописи. Хозяйке было строго-настроено запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорогой я видел в воображеньи мою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу.

6

По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел.

Мне отворила хозяйка. С головы до ног оглядев меня, она попросила, чтобы впредь в таких случаях я заблаговременно извещал ее или ее дочь. Я сказал, что не мог их предупредить заранее, потому что встретил надобность, не заходя к себе, срочно побывать в Берлине. Она посмотрела на меня еще насмешливей. Мое быстрое появление належке, как с вечерней прогулки, с другого конца Германии не укладывалось в ее понятия. Это показалось ей неудачной выдумкой. Все время покачивая головой, она подала мне два письма. Одно было закрытое, другое – местною открыткой. Закрытое было от петербургской двоюродной сестры, неожиданно очутившейся во Франкфурте. Она сообщала, что направляется в Швейцарию и во Франкфурте пробудет три дня. Открытка, на треть исписанная безлично аккуратным почерком, была подписана другою, слишком знакомою по подписям под университетскими объявлениями, рукой Когена. Она содержала приглашение на обед в ближайшее воскресенье.

Между мной и хозяйкой произошел по-немецки такой примерно разговор: «Какой нынче день?» – «Суббота». – «Я чаю пить не буду. Да, чтоб не забыть. Мне завтра во Франкфурт. Разбудите меня, пожалуйста, к первому поезду». – «Но ведь, если не ошибаюсь, г-н тайный советник...» – «Пустяки, успею». – «Но это невозможно. У г-на тайного советника садятся за стол в двенадцать, а вы...» Но в этом попеченьи обо мне было что-то неприличное. Выразительно взглянув на старушку, я прошел к себе в комнату.

Я присел на кровать в состояньи рассеянности, вряд ли длившейся больше минуты, после чего, справясь с волной ненужного сожаленья, сходил на кухню за щеткой и совком. Скинув пиджак и засучив рукава, я приступил к разборке коленчатого растенья. Спустя полчаса комната была как в день въезда, и даже книги из фундаментальной не нарушали ее порядка. Аккуратно увязав их в четыре тючка, чтобы были под рукою, как будет случай в библиотеку, я задвинул их ногою глубоко под кровать. В это время ко мне постучалась хозяйка. Она шла сообщить по указателю точный час отхода завтрашнего поезда. При виде происшедшей перемены она вся замерла и вдруг, тряхнув юбками, кофтой и наколкой, как шарообразно вспыренным опереньем, в состояньи трепещущего окочененья поплыла мне навстречу по воздуху. Она протянула мне руку и деревянно и торжественно поздравила с окончаньем трудной работы. Мне не хотелось разочаровывать ее в другой раз. Я оставил ее в благородном заблужденьи.

Потом я умылся и, утираясь, вышел на балкон. Вечерело. Растирая шею полотенцем, я смотрел вдаль, на дорогу, соединявшую Окерсгаузен и Марбург. Уже нельзя было вспомнить, как смотрел я в ту сторону в вечер своего приезда. Конец, конец! Конец философии, то есть какой бы то ни было мысли о ней.

Как и соседям в купе, ей придется считаться с тем, что всякая любовь есть переход в новую веру.

7

Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него объявилась другая. Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхождение переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок.

Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состояньем.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Помимо этого состоянья все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство.

Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновение, и лучшие произведения мира, повествуя о наизычайнейшем, на самом деле рассказывают о своем рождении. Впервые во всем объеме я это понял в описываемое время.

Хотя за объяснениями с В-ой не произошло ничего такого, что изменяло бы мое положение, они сопровождались неожиданностями, похожими на счастье. Я приходил в отчаянье, она меня утешала. Но одно ее прикосновение было таким благом, что смывало волной ликования отчетливую горечь услышанного и не подлежащего отмене.

Обстоятельства дня походили на шибкую и шумную беготню. Все время мы точно влетали с разбега во мрак и, не переводя дыхания, стрелой выбегали наружу. Так, ни разу не присмотревшись, мы раз двадцать в течение дня побывали в трюме, полном народу, откуда приводится в движение гребная галера времени. Это был именно тот взрослый мир, к которому я с детских лет так ярко ревновал В-ую, по-гимназически любив гимназистку.

Вернувшись в Марбург, я оказался в разлуке не с девочкой, которую знал в продолжение шести лет, а с женщиной, виденной несколько мгновений после ее отказа. Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие просились от меня в цепи, которыми человека приковывают к общему делу. Потому что вне железа я не мог теперь думать уже и о ней и любил только в железе, только пленницею, только за холодный пот, в котором красота отбывает свою повинность. Всякая мысль о ней моментально смыкала меня с тем артельно-хоровым, что полнит мир лесом вдохновенно-затверженных движений и похоже на сражение, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я понимаю то, чего не знают дети и что я назову чувством настоящего.

В начале «Охранной грамоты» я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В сравнении с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей проверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света.

Если бы при знаниях, способности и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятиях, на понятии силы и символа. Я показал бы, что, в отличие от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохождении сквозь нее луча силового. Понятие силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознания сила называется чувством.

Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы недооцениваем содержание. Их тема шире, чем эта сильная тема. Тема их – тема силы.

Из этой темы и рождается искусство. Оно более односторонне, чем думают. Его нельзя направить по произволу – куда захочется, как телескоп. Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения. Оно его списывает с природы. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значения. Каждую можно заменить другою. Любая драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельства состоянья, которым охвачена вся переместившаяся действительность.

Когда признаки этого состоянья перенесены на бумагу, особенности жизни становятся особенностями творчества. Вторые бросаются в глаза резче первых. Они лучше изучены. Для них имеются термины. Их называют приемами.

Искусство реалистично как деятельность и символично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело. Переносный смысл так же точно не значит ничего в отдельности, а отсылает к общему духу всего искусства, как не значат ничего порознь части смещенной действительности.

фигурой всей своей тяги и символично искусство. Его единственный символ в яркости и необязательности образов, свойственной ему всему. Взаимозаменяемость образов есть признак положенья, при котором части действительности взаимно безразличны. Взаимозаменяемость образов, то есть искусство, есть символ силы.

Собственно, только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознания долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света: к числу, к точному понятию, к идее. Но ничем, кроме движущегося языка образов, то есть языка сопроводительных признаков, не выразить себя силе, факту силы, силе, длительной лишь в момент явления.

Прямая речь чувства иносказательна, и ее ничем заменить [21] .

8

Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца.

Однажды я особенно увлекся. Была ночь из тех, что с трудом добиваются до ближайшего забора и, выбившись из сил, в угаре усталости свешиваются над землей. Полнейшее безвертие. Единственный признак жизни – это именно черный профиль неба, бессильно прислонившегося к плетню. И другой. Крепкий запах цветущего табака и левкоя, которым в ответ на это изнеможенье откликается земля. С чем только не сравнимо небо в такую ночь! Крупные звезды – как званный вечер. Млечный Путь – как большое общество. Но еще больше напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. Тут гелиотроп и маттиолы. Их вечером поливали и свалили набок. Цветы и звезды так сближены, что похоже, и небо попало под лейку, и теперь звезд и белокрапчатой травки не расцепить.

Я увлеченно писал, и другая, нежели раньше, пыль покрывала мой стол. Та, прежняя, философская, скоплась из отщепенчества. Я дрожал за целостность моего труда. Нынешней я не стирал солидарности ради, симпатизируя щепню Гиссенской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда на небе, блистал давно невымытый чайный стакан.

Вдруг я встал, пронятый потом этого дурацкого всерастворенья, и зашагал по комнате. «Что за свинство! – подумал я. – Разве он не останется для меня гением? Разве это с ним я разрываю? Его открытке и моим подлым пряткам от него уже третья неделя. Надо объясниться. Но как это сделать?»

И я вспомнил, как он педантичен и строг. «Was ist Apperzeption?» [22] – спрашивает он у экзаменуемого неспециалиста, и на его перевод с латинского, что это означает... durchfassen (прощупать), – «Nein, das heisst durchfallen, mein Herr» (Нет, это значит провалиться), – раздается в ответ.

У него в семинариях читали классиков. Он обрывал среди чтенья и спрашивал, к чему клонит автор. Назвать понятие требовалось наотруб, существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине взамен ее самой он не терпел.

Он был туг на правое ухо. Именно с этой стороны подсел я к нему разбирать свой урок из Канта. Он дал мне разойтись и забыться и, когда я меньше всего этого ожидал, огоршил своим обычным: «Was meint der Alte?» (Что разумеет старик?)

Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умноженья идей на это полагалось ответить, как на пятью пять, – «Двадцать пять», – ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало легкое видоизменение ответа, не удовлетворившее его своей несмелостью. Легко догадаться, что пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, мой ответ варьировался со все возрастающей сложностью. Все же пока говорилось о двух с половиной десятках или примерно о полусотне, разделенной надвое. Но именно увеличивавшаяся нескладность ответов приводила его во все большее раздраженье. Повторить же то, что сказал я, после его брезгливой мины никто не решался. Тогда с движеньем, понятием как, дескать, выручай, Камчатка, он колыхнулся к другим. И: шестьдесят два, девяносто восемь, двести четырнадцать – радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю разликовавшегося вранья и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru мой собственный ответ. Последовала новая буря, мне в защиту. Когда он взял все в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил, откуда я и с какого у них семестра. Затем, сопя и хмурясь, попросил продолжать, все время приговаривая: «Sehr echt, sehr richtig; Sie merken wohl? Ja, ja; ach, ach, der Alte!» (Правильно, правильно; вы догадываетесь? Ах, ах, старик!) И много чего еще вспомнил я.

Ну как подступишься к такому? Что я скажу ему? «Verse»[23] – протянет он. «Verse!» Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки? – «Verse».

9

Вероятно, все это было в июле, потому что цвели еще липы. Продираясь сквозь алмазины восковых соцветий, как сквозь зажигательные стекла, солнце черными кружочками прожигало пыльные листья.

Я уже и раньше часто проходил мимо учебной площадки. В полдень над ней трамбовочным хопром ходила пыль и слышалось глухое, содрогающееся бряцанье. Там учили солдат, и в часы ученья перед плацем застаивались зеваки – мальчишки из колбасных с лотками на плечах и городские школьники. И правда, было на что поглядеть. Врассыпную по всему полю попарно подсакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганые ватники и наголовники из железной сетки. Их обучали фехтованию.

Зрелище не представляло для меня ничего нового. Я вдоволь нагляделся на него в течение лета.

Однако утром после описанной ночи, идучи в город и поравнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу назад видел это поле во сне.

Так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утро, и вот перед самым пробуждением оно мне приснилось. Это был сон о будущей войне, достаточный, как говорят математики, – и необходимый.

Давно замечено, что, как много ни твердит о военном времени устав, вдалбливаемый в роты и эскадронах, перехода от посылок к выводу мирная мысль не в силах произвести. Ежедневно Марбург, строем не проходимый по причине его тесноты, обходили низом бледные и до лбов запыленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло прийти в голову при их виде, так это писчебумажные лавки, где тех же егерей продавали листами, с гуммиарабиком в премию к каждой закупленной дюжине.

Другое дело во сне. Тут впечатленья не ограничивались надобностями привычки. Тут двигались и умозаключали краски.

Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это – Марбург в осаде. Мимо проходили, гуськом подталкивая тачки, бледные долговязые Неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридрицианском стиле, с шанцами и земляными укреплениями. На батарейных высотах чуть отличимо рисовались люди с подозрными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлою земляною вьюгой пульсировала в воздухе и не стояла, а совершалась. Точно ее все время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновиденье из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно, я плакал во сне.

Во мне глубоко сидела история с В-ой. У меня было здоровое сердце. Оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцирплац, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришел в движение и само сновиденье, на своем круглом ходу, тихо пробило: «Я – сновиденье о войне».

Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей.

Было обеденное время. В университете знакомых в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные здания городка. Жара была немилосердная. Там и сям у подоконников возникали утопленники с отжеванными набок воротниками. За ними дымился полумрак парадных комнат. Изнутри входили испитые мученицы в капотах, проварившихся на груди, как в прачешных

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru котлах. Я повернул домой, решив идти верхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл.

Их сады пластом лежали на кузничном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалденьи, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступленья было отрезано.

Моему сыну седьмой год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносят, он говорит: я это понял не из слов, а по причине. И точка. Не по причине того-то и того-то, а понял по причине.

Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым доходят, в отличие от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать умом причинным.

Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним было страшновато, прогуливаться – нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики, приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом подобравшей свои главные основоположенья. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценною эссенцией, укупоривавшейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей.

Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую ввиду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки.

В таких чертах и шел наш разговор. Упоминание о моей оплошности только ее усугубило, – он дал мне это понять убийственным образом без слов, ничего не прибавив к насмешливому молчанию упертой в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял. По его мнению, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство. Но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок. И, сдерживая свое раздражение, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажет ли, наконец, человек дело после столь явных и томительных пустяков.

Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно, кончать же в Москве собираюсь, как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращении в Марбург даже не помышляю? Ему, прощальные слова которого перед выходом на пенсию были о верности большой философии, сказанные университету так, что по скамьям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платочки.

10

В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу. Мои средства истощились, их едва хватало на возвращение в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Г-вым на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состояние моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось бедствовать всерьез, и как раз в эти периоды он много пошталался по свету. Он побывал в Англии и в Италии и знал способы прожить в путешествии почти задаром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы съездить в Венецию и Флоренцию, а потом к родителям на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем, при скупом расходовании остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие и правда прескромный итог.

В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он знал подноготную каждого из нас. Когда в разгар моих испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чудак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
мое распоряжение.

Он принял живейшее участие в обсуждении итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался и, стуча карандашом по Г-ской смете, находил даже и ее недостаточно экономной.

Прибыв с одной из таких отлучек с толстым справочником под мышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь, с начала и с конца. Найдя в вихре страниц какую хотел, он объявил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в три с минутами, в ознаменование чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку.

Я недолго колебался. В самом деле, думал я, следя за ходом его рассуждений. Отписка из университета получена. Зачетные отметки в порядке. Сейчас половина одиннадцатого. Разбудить хозяйку – грех небольшой. Времени на укладку за глаза. Решено – еду.

Он пришел в такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель. «Послушайте, – сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы. – Вглядитесь друг в друга попристальней, такой у нас обычай. Это может пригодиться, ничего нельзя знать наперед». Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано и что я никогда его не забуду.

Мы простились, я вышел вслед за Г-вым, и смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось – навсегда.

Спустя несколько часов, изговорившись в лоск и до одури нашагавшись по городку, быстро истощившему небольшой запас своих улиц, мы с Г-вым спустились в прилегающее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумием, от которого то и дело тухнут папиросы.

Мало-помалу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной рассады. Вдруг на этой стадии светанья город вырисовался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались с серым небом, как клочок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыханья, прерванного на полушаге от окна. «Ну, пора», – сказал Г-в.

Светало. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд, я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца, я прижался к окну. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше, чем я ждал, пронеслись, налетая друг на друга, – Лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал книзу оконную раму. Она не подавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся что было мочи наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия!

11

Прошло шесть лет. Когда все забылось. Когда протянулась и кончилась война и разразилась революция. Когда пространство, прежде бывшее родиной материи, заболело гангреной тыловых фикций и пошло линючими дырами отвлеченного несуществования. Когда нас развезло жидкою тундрой и душу обложил затяжной дребезжащий, государственный дождик. Когда вода стала есть кость и времени не стало чем мерить. Когда после уже вкушенной самостоятельности пришлось от нее отказаться и по властному внушенью вещей впасть в новое детство, задолго до старости. Когда я впал в него, по просьбе своих поселясь первым вольным уплотнителем у них в доме, в низкие полуторазэтажные сумерки приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире невременный звонок по телефону. «Кто у телефона?» – спросил я. «Г-в», – последовал ответ. Я даже не удивился, так это было удивительно. «Где вы?» – невременно выдавил я из себя. Он ответил. Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком, перейдя двор. Он звонил из бывшей гостиницы, занятой общежитием Наркомпроса. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал.

Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и – хотя за границей, но все под той же пасмурной войной за освобождение

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона. И не то в партии, не то ярый ее сочувственник. Служит. С переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросовского аппарата. Оттого и сосед. Вот и все.

А я бежал к нему как к марбуржцу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызнова, с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле, точно скот на коровьем броде, – и на этот раз поосторожнее, без войны, по возможности. О, конечно, не для того. Но, зная наперед, что подобная реприза немислима, я бежал удостовериться, чем она немислима в моей жизни. Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности, на несправедливо частный ее оттенок, потому что безвыходность общая, и по справедливости принятая наравне со всеми, бесцветна и в выходы не годится.

Так вот, на такую живую безвыходность, сознание которой было бы мне выходом, и бежал взглянуть я. Но глядеть было не на что. Этот человек не мог помочь мне. Он был поврежден сыростью еще больше, чем я.

Впоследствии мне посчастливилось еще раз навеститься в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале 23-го года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими. Однако и мне было трудно. Я видел Германию до войны и вот увидел после нее. То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном ракурсе. Это был период Рурской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временам, как за подаяньем, рукой (жест для нее несвойственный) и вся поголовно на костылях. К моему удивленью, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась внаймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она, как прежде, виднелась в окне. И была зима. Неопрятность пустой, захоленной комнаты, голые ветлы на горизонте – все это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напрозорил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт.

А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер.

12

Итак – станции, станции, станции. Станции, каменными мотыльками пролетающие в хвост поезда.

В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки, снуя, оцарапывали крыльями карнизы. Пылающие стены глазами яблоками закатывались под навесы черно-вишневых черепичных крыш. Весь город шурил и топырил их, как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее.

«Zwei francs vierzig centimes»[24] , – изумительно чисто произносит в лавке крестьянка в костюме кантона, но место слиянья обоих речевых бассейнов еще не тут, а направо, за низко нависшую крышу, на юг от нее, по жаркой, вольно раздавшейся федеральной лазури, и все время в гору. Где-то под St-Gothard'ом, и – глубокой ночью, говорят.

И такое-то место я проспал, утомленный ночными бденьями, двухсуточной дороги! Единственную ночь жизни, когда не подобало спать, – почти как какое-то «Симон, ты спишь?» – да простится мне. И все же мгновеньями пробуждался, стойком у окна, на позорно короткие минуты, «ибо глаза у них отяжелели». И тогда...

Кругом галдел мирской сход недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал и, давая свисток за свистком, мы винтом в холодном дыму ввинчивались из туннеля в туннель, нас успело обступить дыханье, на три тысячи метров превосходящее наше природное?

Была непрогляднейшая тьма, но эхо наполняло ее выпуклою скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перемывая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачили, сплетничали и сочались ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены сучеными нитками вниз, в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы, рассаживаясь на крышах вагонов, и, перекрикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанью.

Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов, под слепыми Эдиповыми белками Альпов, на вершине демонического совершенства планеты. На высоте поцелуя, который она, как Микеланджелова ночь, самовлюбленно кладет здесь на свое собственное плечо.

Когда я проснулся, чистое альпийское утро смотрело в окна. Какое-то препятствие, вроде обвала, остановило поезд. Нам предложили перейти в другой. Мы пошли по рельсам горной дороги. Лента полотна вилась разобщенными панорамами, точно дорогу все время совали за угол, как краденое. Мои вещи нес босой мальчик-итальянец, совершенно такой, каких изображают на шоколадных обертках. Где-то неподалеку музицировало его стадо. Звяканье колокольчиков падало ленивыми встрясками и отмахками. Музыку сосали слепни. Вероятно, на ней дёргом ходила кожа. Благоухали ромашки, и ни на минуту не прекращалось переливанье из пустого в порожнее незримо шлепавшихся отовсюду вод.

Следствия недосыпания не замедлили сказаться. Я был в Милане полдня и не запомнил его. Только собор, все время менявшийся в лице, пока я шел к нему городом, в зависимости от перекрестков, с которых он последовательно открывался, смутно запечатлелся мне. Он тающим глетчером неоднократно выросал на синем отвесе августовской жары и словно питал льдом и водой многочисленные кофейни Милана. Когда наконец неширокая площадь поставила меня к его подошве и я задрал голову, он съехал в меня всем хором и шорохом своих пилястр и башенок, как снежная пробка по коленчатому голенищу водосточной трубы.

Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытии в Венецию, так это основательно отоспаться.

13

Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно-темное, как помои, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция. Что я – в ней, что это не снится мне.

Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай.

Катер потел и задышался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятия о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.

Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений.

Как бы для того, чтобы тем прочней утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведенью едущих: «Fondaco dei Turchi! Fondaco dei Tedeschi!»[25] Но, разумеется, названья кварталов ничего общего с фундуками не имеют, а заключают воспоминанья о караван-сараях, когда-то основанных тут турецкими и немецкими купцами.

Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов увидел я первую, или первую поразившую меня, гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез, стала чалить к ближайшему дворцовому portalу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клубочек кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом.

Уже и раньше, по рассказам Г-ва о Венеции, я рассудил, что всего лучше будет поселиться в районе близ Академии. Тут я и высадился. Не помню, перешел ли я по мосту на левый берег или остался на правом. Помню крошечную площадь. Ее обступали такие же дворцы, что и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу.

На залитой луной площади стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было немного, и они точно ее драпировали движущимися, малоподвижными и неподвижными телами. Был необыкновенно тихий вечер. Мне бросилась в глаза одна пара. Не поворачивая друг ко другу голов и наслаждаясь обоюдным отмалчиваньем, они напряженно всматривались в противоположную даль. Вероятно, это была отдохавшая прислуга палаццо. Сперва меня привлекла спокойная осанка лакея, его стриженная просесть, серый цвет его куртки. В них было что-то неитальянское. От них веяло севером. Затем я увидел его лицо. Оно показалось мне когда-то уже виденным, и только я не мог вспомнить, где это было.

Подойдя к нему с чемоданом, я выложил ему свою заботу о пристанище на несуществующем наречьи, сложившемся у меня после былых попыток почитать Данте в оригинале. Он вежливо меня выслушал, задумался и о чем-то спросил стоявшую рядом горничную. Та отрицательно покачала головой. Он вынул часы с крышкой, поглядел время, защелкнул, сунул в жилет, и не выходя из задумчивости, наклоном головы пригласил следовать за собою. Мы загнули из-за залитого луною фасада за угол, где был полный мрак.

Мы шли по каменным переулочкам не шире квартирных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе руки вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубчатом свертке, едва втиснутым на дно кривого ящика.

По горбатым мостам проходили встречные, и задолго до ее появления о приближении венецианки предупреждал частый стук ее тупель по каменным лещадкам квартала.

В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо, и все куда-то уходило. Точно по всему Млечному Пути тянул пух семенившегося одуванчика, и, будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И, удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью найдешевейшего ночлега.

Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла суতোлка. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопоривавших машин. А по соседству с ее клокотаньем ярко жужжали горелки в палатках фруктошников, работали языки и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов.

В одной из ресторанных судомоев у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ *Campro Morosini*, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пресек расстояние, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движенью. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, – «Светлые ночи, – сказал бы я, – крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми».

14

«Ну-с, дружище, – громко, как глухому, прорычал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубаше, – я вас устрою, как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом исподлобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарабанил пальцами по волосатой груди. «Хотите холодной телятины?» – не смягчая взгляда рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа.

Вероятно, это был добряк, корчивший из себя страшилище, с усами а 1?

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Radetzki [26]. Он помнил австрийское владычество и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров-далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношение навело его на грустные мысли о падении немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него, вероятно, была изжога.

Поднявшись, как на стремянах, из-за стойки, он кровожадно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомление. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. «Я сразу почувствовал к вам расположение, как только вы вошли», – злорадно процедил он, движением руки пригласив меня присесть, и опустился на стул стола через два или три от меня. Мне принесли пива и мяса.

Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался.

Уплетая телятину, я уже раз или два обратил внимание на странные исчезновения и возвращения на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня слипались веки.

Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стремительного, непрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.

Я оглядел помещение, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, перьяная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел.

За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это, верно, чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушукавшей женщине я узнал свою вчерашнюю старушку.

Она приходилась дальней родней хозяину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру, однако когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упростила меня не вмешиваться в их семейные дела.

Перед одеваньем, потягиваясь, я еще раз оглядел все кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал обер-кельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться.

Вероятный налет вмененья, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это-то и было причиной инстинктивного предпочтения, которое я оказал одному из людей на площади перед всеми остальными.

Меня это открытие не удивило. Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте» и «прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза.

15

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живою личностью.

С какой стороны ни идти на пьядцу, на всех подступах к ней стережет мгновение, когда дыханье учащается и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru становится подобьем преддверья, и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дождей и трехстороннюю галерею.

Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущению, что Венеция – город, обитаемый зданьями – четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться. Кроме того, оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой.

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьедестале в позах, которые были бы естественны при прощании с живым лицом, площадь ревнует к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская.

16

Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь поколениями, как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканных друг в друга столетия, а невдалеке от площади недвижимой корабельной чашей дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из-за чердаков, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в том же выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы. По тем временам это был флот очень сильный. Он поражал своей численностью. Уже в пятнадцатом веке в нем одних торговых судов, не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при семидесяти тысячах матросов и судорабочих.

Этот флот был невымышленной явией Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флот томил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это – значит понять, как обманывает искусство своего заказчика.

Любопытно происхождение слова «панталоны». Когда-то, до своего позднейшего значенья штанов, оно означало лицо итальянской комедии. Но еще раньше, в первоначальном значении, «*pianta leone*» выражало идею венецианской победоносности и значило: водрузительница льва (на знамени), то есть, иными словами, – Венеция-завоевательница. Об этом есть даже у Байрона в «Чайльд Гарольде»:

Her very byword sprung from victory,
The «Planter of the Lion», which through fire
And blood she bore o'er subject earth and sea[27].

Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона. Пойдем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки?

Эмблема льва многообразно фигурировала в Венеции. Так и опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «*bocca di leone*»[28] современникам и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения.

Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались.

И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидеть самое живопись, как

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
золотую топь, как один из первичных омутов творчества.

17

Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направлении, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет, и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды.

Я увидел, какое наблюдение первым поражает живописный инстинкт. Как вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть. Будучи запримечена, природа расступается послушным простором повести, и в этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпаччио и Беллини, чтобы понять, что такое изображение.

Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне – исполнитель, исполненное или предмет исполнения. Именно благодаря этой путанице мыслимы недоразумения, при которых время, позируя художнику, может вообразить, будто подымает его до своего преходящего величия. Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое искусство.

Наконец, недостаточно оценив эти впечатления в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтоб взорваться.

Кругом – львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие, – львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертия, мыслимого без смеху только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все это терпят. Для того чтобы ощутить только это, не требуется гениальности: это видят и терпят все. Но раз это терпят сообща, значит, в этом зверинце должно быть и нечто такое, чего не чувствует и не видит никто.

Это и есть та капля, которая переполняет чашу терпенья гения. Кто поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображения, или шире: равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть Микеланджело Венеции – Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.

18

Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда, в Венеции, и еще сильнее во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве мне приходили в голову другие, более специальные мысли.

Главное, что выносит всякий от встречи с итальянским искусством, – это ощущение осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл.

Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов и как по-разному, – как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в воскресенье с веком Возрождения – явление необычайное и для всей европейской образованности центральное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих «Введений» «Вознесений», «Бракосочетаний в Кане» и «Тайных вечерь» с их разнузданно великосветской роскошью?

И вот именно в этом несоответствии сказала мне тысячелетняя особенность нашей культуры.

Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и, пока я днями переходил из собрания в собрание, она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюдение.

Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял, что история культуры есть

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым – актуальный момент текущей культуры.

Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил.

Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря, тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки саланганы, построили мир, – огромное гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти и двух времен, наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц.

Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно преломленной. Я не знал, что, в отличие от примитивов, его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья. Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта разыгрываются внутри культуры, бунтовщику всегда кажется, что его бунт прокатывается на улице, за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками.

Когда папа Юлий Второй выразил неудовольствие по поводу колористической бледности сикстинского плафона, то в применении к потолку, изображающему создание мира с полагающимися фигурами, Микеланджело, оправдываясь, заметил: «В те времена в золото не рядились. Особы, здесь изображенные, были людьми небогатыми».

Вот громоподобный и младенческий язык этого типа.

Предела культуры достигает человек, таящий в себе укрощенного Савонаролу. Неукрощенный Савонарола разрушает ее.

19

Вечером накануне отъезда на пьядце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица слушавших под открытым небом вспарило банной яркостью, как в закрытом великолепно освещенном помещении. Вдруг с потолка воображаемого бального зала стало слегка накрапывать. Но, едва начавшись, дождик внезапно перестал. Иллюминационный отсвет кипел над площадью цветною мглой. Колокольня св. Марка ракетой из красного мрамора врезалась в розовый туман, до половины заволакивавший ее верхушку. Несколько подальше клубились темно-оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из Древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва.

Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались, подобно шороху коньков в ледяной чашке катка.

Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу, точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибаая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе *allegro irato*[29] странно соответствовала черному дрожанию иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков.

В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, навсегда связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не возшло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездие, со смутно готовым представленьем о нем как о Созвездьи Гитары.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было сине.

По бульварам, нагибаясь, как для боданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, т. е. неисчислимыми лицами моего детства.

Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов: овладеть, извлечь пользу, присвоить. Они обнаруживали поспешность, достойную более внимательного разбора.

На свете есть смерть и предвиденье. Нам мила неизвестность, наперед известное страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видам негде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушенья вселенной.

Но жизни есть где жить и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведении, и одним из них является всякое новое поколение.

Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпят портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти.

Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, – передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызвало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячее и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немислимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведении образца. Таково было искусство. Каково же было поколение?

Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возможность и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользование старикам и детям.

Однако для полноты их характеристики надо вспомнить государственный порядок, которым они дышали.

Никто не знал, что это правит Карл Стюарт или Людовик XVI. Почему монархами по преимуществу кажутся последние монархи? Есть, очевидно, что-то трагическое в самом существе наследственной власти.

Политический самодержец занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр. Такие примеры исключительны и запоминаются на тысячелетья. Чаще природа ограничивает властителя тем полнее, что она не парламент и ее ограничения абсолютны. В виде правила, освященного веками, наследственным монархом зовется

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru лицо, обязанное церемониально изживать одну из глав династической биографии – и только. Здесь имеется пережиток жертвенности, подчеркнутой в этой роли оголеннее, чем в пчелином улье.

Что же делается с людьми этого страшного призванья, если они не Цезари, если опыт не перекипает у них политикой, если у них нет гениальности – единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной?

Тогда не скользят, а поскальзываются, не ныряют, а тонут, не живут, а вживаются в щекотливости, низводящие жизнь до орнаментального прозябанья. Сначала в часовые, потом в минутные, сначала в истинные, потом в вымышленные, сначала без посторонней помощи, потом с помощью столоверченья.

При виде котла пугаются его клокотанья. Министры уверяют, что это в порядке вещей и чем совершеннее котлы, тем страшнее. Излагается техника государственных преобразований, заключающаяся в переводе тепловой энергии в двигательную и гласящая, что государства только тогда и процветают, когда грозят взрывом и не взрываются. Тогда, зажмурясь от страха, берутся за ручку свистка и со всей прирожденной мягкостью устраивают Ходынку, кишиневский погром и Девятое января и сконфуженно отходят в сторону, к семье и временно прерванному дневнику.

Министры хватаются за голову. Окончательно выясняется, что территориальными далями правят недалекие люди. Объяснения пропадают даром, советы не достигают цели. Широта отвлеченной истины ни разу не пережита ими. Это рабы ближайших очевидностей, заключающие от подобного к подобному. Переучивать их поздно, развязка приближается. Подчиняясь увольнительному рескрипту, их оставляют на ее произвол.

Они видят ее приближение. От ее угроз и требований бросаются к тому, что есть самого тревожного и требовательного в доме. Генриэтты, Марии-Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшенья его комфорта. Обращаются к версальским садовникам, к ефрейторам Царского Села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро поднимаются Распутины, никогда не опознаваемые капитуляции монархии перед фольклорно понятым народом, ее уступки веяньям времени, чудовищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок, потому что это уступки только во вред себе, без малейшей пользы для другого, и обыкновенно как раз эта несурзанность, оголяя обреченную природу страшного призванья, решает его судьбу и сама чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанью.

Когда я возвращался из-за границы, было столетье Отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное здание в кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого и не везде еще притоптанного песку.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствования – равнодушьем к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором.

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы поры писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие кутеповское издание «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с Училищем живописи, которое состояло в ведении министерства имп. двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить девятьсот пятый год, драму в семье Касаткина и мою грошовую революционность, дальше бравированья перед казацкой нагайкой и удара ею по спине ватной шинели не пошедшую. Наконец, что касается сторожей, станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм.

Поколение было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для сужденья обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявлениями о своей науке, своей философии и своем искусстве.

2

Однако культура в объѣтыя первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Пониманье любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влеченья, пережитого со всем волнением, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состоянья. Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немыслимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпигоны представляли влеченье без огня и дара. Новаторы – ничем, кроме выхолощенной ненависти, не движимую воинственность. Это были слова и движенья крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю.

Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспokoйны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движенье новаторство отличалось видимым единодушьем. Но, как в движеньях всех времен, это было единодушие лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то есть любопытным случаем механического перемещенья шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром победы, лица и именного значенья. Движенье называлось футуризмом.

Победителем и оправданьем тиража был Маяковский.

3

Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Ю. Анисимов показал мне его стихи в «Садке судей», как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке «Лирика», эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явление многообещающей близости, как громада.

Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал (это было в 1914 году, весной), что Шершеневич, Большеков и Маяковский наши враги и с ними предстоит нешуточное объяснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, несколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарождение «Центрифуги» сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова предать что угодно, когда придется. Но на этот раз я переоценил свои силы.

Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно, мы – неряшливо. Позиция противника была во всех отношениях превосходной.

Пока Бобров препирался с Шершеневичем, – а суть дела заключалась в том, что они нас однажды задели, мы ответили еще грубее, и всему этому надо было положить конец, – я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.

Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличие от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, – играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, – улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему, и пугало.

Хотя всех людей на ходу и когда они стоят видно во весь рост, но то же обстоятельство при появлении Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверхъестественным. Причиной был не его рост, а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явлении. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставляли его уже в снопе ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполнение и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписанием, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебания.

Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищенье же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки.

А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволие. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, не разъяряемого исподволь холодной водой, и того, что страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточно и что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья образа рода, то есть в такой страсти, которая внутренне подобна страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью.

Вдруг переговоры кончились. Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанной мировой были унижительны для нас.

Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась. В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко. Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел.

4

Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинноязыкие собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновеньями складывались, растворясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки охлестывая свистящими кругами веревочной скакалки.

Я увидел Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направлению к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, валились на песок в состояньи негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую, и кругом стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались – и ничего не ведали.

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затаив дыхание. Ничего подобного я раньше никогда не слышал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия – одно недоразуменье, временно не разъясненное.

И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но – предмет лирики, от первого лица обращаясь к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья.

5

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. «Облаком в штанах», «Флейтой-позвоночником», «Войной и миром», «Человеком». То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминанья требовались экстраординарные. Такими они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставлял меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть. Что же в нем было столь непривычного?

Он обладал сравнительно постоянными качествами. Относительно устойчива была и моя восторженность. Она всегда для него была готова. Казалось бы, при таких условиях и привыканье мое не должно было бы делать скачков. Между тем вот как обстояло дело.

Пока он существовал творчески, я четыре года привыкал к нему и не мог привыкнуть. Потом привык в два часа с четвертью, что длилось чтение и разбор нетворческих «150 000 000-нов». Потом больше десяти лет протомился с этой привычкой. Потом вдруг разом ее в слезах утратил, когда он во весь голос о себе напомнил, как бывало, но уже из-за могилы.

Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничиваньи магнита, когда в сохранении всей внешности ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображение и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался. Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой.

Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому трагедии, к фамилии содержанья, к поэту, извечно содержащемуся в поэзии, к возможности, осуществляемой наиболее

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru сильными, а не к так называемому «интересному человеку».

С зарядом этой непривычности я и пошел домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С., семьи глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображение, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической природы. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

6

Зеленели тополя и ящерицами бегали по речной воде отраженья золота и белого камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с Балтрушайтисами на Оку, в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира.

Еще цвела сирень. Выбежав далеко на дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком въезде в имение. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровною травой двор.

Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего Камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов.

7

Когда объявили войну, заненастилось, пошли дожди, полились первые бабьи слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали, как быть, и в нее вступали как в студеную воду.

Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанию. Поезд трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна непохожего на плач, неестественно нежного и горького, как рябина, кукованья. Пожилую, не по-летнему укутанную женщину подхватывали на руки. Родня снаряженного с односложными уговорами отводила ее под станционные своды.

Это только в первые месяцы державшееся причитанье было шире горя молодух и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии. Начальники станций брали при его следованьи под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видное отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали своих, вольными одиночками или с земляками уезжавших в город в зеленых вагонах.

Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голошенья. Во всем в обтяжку, они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накиннутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину местами подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно сколотых платков.

Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разоренья, свернутого со всех суставов упрямым сопротивленьем беде.

Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закопился ввысь, на унизительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу, которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На нем египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл и высунул и спрятал свиную морду. Все время, что длилось затмение, то сапожком, то шишкой сбирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.

8

Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С-х – З.М. М-ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколения. Время показало, что я не ошибся.

Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и донныне для меня недоступна, потому что поэзия моего пониманья все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и при всей неряшливой пошлости поражающий именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара.

Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколение выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращении от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.

Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движенья. В хозяйстве М-вой я увидел тогда первый в моей жизни примус. Изобретенье не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространенье.

Чистый ревуший кузов разбрасывал высоконапорное пламя. На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты. Локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселенье на Огненной Земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское. И – бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара, протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как сладями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшенью приглашали особо, с утра по возможности, то есть часа в три пополудни.

Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбужденье. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначенье. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.

9

Но не всегда он приходил в спутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходящий из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л.Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.

Обычно же его симпатии вызывали недоуменье. Поэт с захватывающе крупным самосознаньем, дальше всех зашедший в обнаженьи лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темой, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную.

Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна «Медного Всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга», город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
девятнадцатого и двадцатого столетья.

Он обнимал такие виды и наряду с этими огромными созерцаниями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличья посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтобы назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движенья, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направлении осознанной неизбежности.

10

Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и Большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.

Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов – наряд, медика?менты, лицензия и холодильное дело – вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченное, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.

Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины.

Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.

От м-вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в течение нескольких дней меня там сталкивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.

Меня заклял отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом из боев по возвращеньи на позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же после летнего освобожденья перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствованиях.

Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Как всегда, оживленное движенье столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть. Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношеньи шел еще больше, чем Москве.

Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах».

Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенные часы, размеренными порциями. И тогда я в

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
первый раз побывал у Бриков.

Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки», на Урале и в пугачевском Прикамьи.

Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатленьи. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.

11

В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.

Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпадения. Я их заметил. Я понимал, что если не делать чего-то с собою, они в будущем участвуют. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представление владело Блоком лишь в течение некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представлением расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте, романтическое жизнепонимание покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основание, немислим без непоэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познанием лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишаящийся половины своего содержания.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основанием. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положение.

Когда же явилась «Сестра моя, жизнь», в которой нашли выражение совсем не современные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

12

В не убирающуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушья, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охапками сгребал со стола и сносил на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложениями из свиной крошки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтениями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках. При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы.

Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И как часто тогда сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в доме. А это минутами просветленья среди сплошного беспамьяства звал к себе из кабинета его единственный, переносный со штепселем жилец.

Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском, на сбор всех, какие могли только оказаться тогда в Москве, поэтических сил. По этому же телефону, но гораздо раньше, до корниловского мятежа, спорил я с Маяковским.

Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом верхковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем и, приходя во все большее раздраженье, один за другим парировал его доводы в свое оправданье. Я удивлялся не столько его бесцеремонности, сколько проявленной при этом бедности воображенья, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошеном распоряженье моим именем, а в его досадном убежденьи, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего. На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весной. Но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил. И я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише, вещи по близости вечера неисполнимой и по моей тогдашней безвестности – аффектированно бессмысленной.

Но хотя я тогда еще прятал «Сестру мою, жизнь» и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня все идет по-прежнему. Кроме того, совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который Маяковский так безуспешно ссылался, и меня раздражала непоследовательность этого приглашенья после всего тогда говорившегося.

13

Телефонную эту перепалку напомнил он мне спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя А. Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросающуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов.

Началось чтение. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел с Маргаритой Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно несло навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуваженья не выходило. Все чувствовали себя именами, все – поэтами. Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не жаль, потому что на высотах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится.

Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправдания двух последовательно исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствии Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

После этого прошло много лет. Прошел год, и, прочтя ему первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать. Прошел еще год. Он в тесном кругу прочитал «150 000 000». И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в течение которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего пониманья, по-видимому – непреодолимыми. Воспоминанья об этом времени вышли бы бледными и ничего бы к сказанному не прибавили. И потому я прямо перейду к тому, что мне еще осталось досказать.

14

Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недозрелости ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг – конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого – Пушкиным девятьсот тридцать шестого года. Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще и не названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на смерть. Что она похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного схождения.

И вместе с сердцем смещаются воспоминанья и произведения, произведения и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданию. Какова была его личная жизнь, спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Огромная, предельного разноречья область стягивается, сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременно по всем частям своего сложенья, начинает существовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данной ей в подмогу.

И если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, естественно ждать соответствующих явлений и в его поведении.

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.

Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнание. С тех пор утекло много воды. Его признание вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилие памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волнение. В нем мигают огоньки и, кашляя в платки, щелкают на счетах, его засыпает снегом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рожденья. И вновь, как в детстве, замечается все. Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир.

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается, и мельчает, и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток вниманья. Это неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравнении с обидами, по которым так торжественно шагало еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровней и правдоподобней.

Но она невероятна и бесподобна, и, однако, так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло.

Как тут падают духом. Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком. Каких только слонов не делают тут из мух.

Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир?

«Просят не курить». «Просят дела излагать кратко». Разве это не истины?

«Этот? Повесится? Будьте покойны». – «Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он любит только себя».

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащется в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рожденье? Так это смерть?

15

В отделах записей актов гражданского состоянья приборов для измерения правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искренность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполнением, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположенья о его чувстве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя бы и не навеки, всем полным собраньем прошедших дней.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего.

Она с детства стеснена в движениях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, – это так называемый божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться.

Она подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже получает письма до востребования. Она держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Все это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свиданье.

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое, слабого настоя, некрепкое, бледное небо, пыль, родина, сухие, щепящиеся голоса. Сухие, как щепки, звуки и, вся в их занозах, – гладкая, горячая тишина.

Навстречу – человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Они идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадаетеся им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше, он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, все равно, все равно какое-то совершеннейшее «я – это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.

16

Начало апреля застало Москву в белом остолбененьи вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли.

Узнав о несчастьи, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову. Что-то подсказало мне, что это потрясенье даст выход ее собственному горю.

Между одиннадцатую и двенадцатую все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой события. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастьи. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень, невольным движеньем нагибаешься над Москвой, как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четвереньки, скучно обирает с себя

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru часовщиков и сапожников, подымает и переставляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движенья были столь явным отрывком из застрелившегося, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле Силловой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишье, но

И чувствую, «я» для меня мало?... – складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волнения не мог ни слова. В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирсанов.

Сырой туман оплакивания прерывался и тут озабоченными разговорами вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, службы первые слова, сказанные шепотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе раздвинулось было еще вдрызг дрожко, и воробы и ребятишки взбадривали себя беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли телеграмма Лиле. Л. А. Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив внимание на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть стряпшегося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по небу, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в горячающихся почках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз вырветесь в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выражение, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движенье. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно गरेвавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещенье вплыл ее голос. Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» – крикнула она на весь дом. Прошло мгновение. «Молчит! – закричала она того пуще. – Молчит. Не отвечает. Володя. Володя! Какой ужас!»

Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ноги, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествлением неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяньей подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаянием и рвет убийством.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Сестра первую плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великом, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им! – негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. – Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. – А с ним вот что делалось. – Что же ты к нам не пришел, Володя?» – навзрыд протянула она, но, тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему ближе. «Помнишь, помнишь, Володичка?» – почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать:

И чувствую, «я» для меня мало?
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!

Кто говорит?! Мама?

Мама! Ваш сын прекрасно болен.

Мама! У него пожар сердца.

Скажите сестрам, Люде и Оле,

Ему уже некуда деться.

17

Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и создавали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись привычкой к состояниям, хотя и подразумеваемым нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

СТАТЬИ И ПЕРЕВОДЫ
НЕСКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ

1

Когда я говорю о мистике, или о живописи, или о театре, я говорю с той миролюбивой необязательностью, с какой рассуждает обо всем свободомыслящий любитель.

Когда речь заходит о литературе, я вспоминаю о книге и теряю способность рассуждать. Меня надо растолкать и вывести насильно, как из обморока, из состояния физической мечты о книге, и только тогда, и очень неохотно, преодолевая легкое отвращение, я разделю чужую беседу на любую другую литературную тему, где речь будет идти не о книге, но о чем угодно ином, об эстраде, скажем, или о поэтах, о школах, о новом творчестве и т. д.

По собственной же воле, без принуждения, я никогда и ни за что из мира своей заботы в этот мир любительской беззаботности не перейду.

2

Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно – губка.

Они решили, что искусство должно быть, тогда как оно должно всасывать и насыщаться.

Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады; как будто на свете есть два искусства и одно из них, при наличии резерва, может позволить себе роскошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показывается, а оно должно тонуть в райке, в безвестности, почти не ведая, что на нем шапка горит, и что, забившееся в угол, оно поражено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как некоторой болезнью.

3

Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего.

Токование – забота природы о сохранении пернатых, ее вешний звон в ушах. Книга – как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся.

Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян.

Ее писали. Она росла, набиралась ума, видала виды, – и вот она выросла и – такова. В том, что ее видно насквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной.

А недавно думали, что сцены в книге – инсценировки. Это – заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.

Неумение найти и сказать правду – недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть. Книга – живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены – это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть.

4

Жизнь пошла не сейчас. Искусство никогда не начиналось. Оно бывало постоянно налицо до того, как становилось.

Оно бесконечно. И здесь, в этот миг за мной и во мне, оно – таково, что как из внезапно раскрывшегося актового зала меня обдаёт его свежей и стремительной повсеместностью и повсевременностью, будто это: приводят мгновение к присяге.

Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растет, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись.

5

В чем чудо? В том, что жила раз на свете семнадцатилетняя девочка по имени Мэри Стюарт и как-то в октябре у окошка, за которым улюлюкали пуритане, написала французское стихотворение, кончавшееся словами:

*Car mon pis et mon mieux
Sont les plus deserts lieux*[30].

В том, во-вторых, что однажды в юности у окна, за которым кутежничал и бесновался октябрь, английский поэт Чарльз Альджернон Суинберн закончил «Chastelard'a», в котором тихая жалоба пяти Марииных строф вздулась жутким гудением пяти трагических актов.

В-третьих, в том, наконец, что когда как-то раз, тому назад лет пять, переводчик взглянул в окно, он не знал, чему ему удивляться больше.

Тому ли, что елабужская вьюга знает по-шотландски и, как и в оный день, все еще тревожится о семнадцатилетней девочке, или же тому, что девочка и ее печальник, английский поэт, так хорошо, так задушевно хорошо сумели рассказать ему по-русски про то, что по-прежнему продолжает волновать их обоих и не оставило преследовать.

Что это значит? – задался переводчик вопросом. Что там делается?

Отчего сегодня так тихо (и ведь вместе так вьюжно!) там? Казалось бы, по тому,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
что мы туда посылаем, там должны бы истекать кровью. Между тем – там улыбаются.

Вот в чем чудо. В единстве и тождественности жизни этих троих и целого множества прочих (свидетелей и очевидцев трех эпох, лиц биографии, читателей) – в заправдашнем октябре неизвестно какого года, который гудит, слепнет и сипнет там, за окном, под горой, в... искусстве.

Вот в чем оно.

6

Существуют недоразуменья. Их надо избежать. Здесь место дани скуке.

Говорят – писатель, поэт...

Эстетики не существует. Мне кажется, эстетики не существует в наказание за то, что она лжет, прощает, потворствует и снисходит. Что, не ведая ничего про человека, она плетет сплетню о специальностях.

Портретист, пейзажист, жанрист, натюрмортист? Символист, акмеист, футурист? Что за убийственный жаргон!

Ясно, что это – наука, которая классифицирует воздушные шары по тому признаку, где и как располагаются в них дыры, мешающие им летать.

Не отделимые друг от друга поэзия и проза – полюса.

По врожденному слуху поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, передается затем импровизации на эту тему.

Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит человека в категории речи, а если век его лишен, то на память воссоздает его, и подкидывает, и потом, для блага человечества, делает вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют отдельно.

Фантазируя, наталкивается поэзия на природу. Живой, действительный мир – это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот он длится, ежесекундно успешный. Он все еще – действителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели – натурой и моделью.

7

Безумье – доверяться здравому смыслу. Безумье – сомневаться в нем. Безумье – глядеть вперед. Безумье – жить не глядя. Но заводить порою глаза и при быстро поднимающейся температуре крови слышать, как мах за махом, напоминая конвульсии молний на пыльных потолках и гипсах, начинает ширять и шуметь по сознанию отраженная стенопись какой-то нездешней, несущейся мимо и вечно весенней грозы, это уж чистое, это во всяком случае – чистейшее безумье!

Естественно стремиться к чистоте.

Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. Она тревожна, как зловещее круженье десятка мельниц на краю голого поля в черный, голодный год.

1918, 1922

ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА

1

В прошлом году вместе с Е.Ф. Книпович и И.Н. Розановым мы давали заключение по «Антологии английской поэзии», собранной, но еще не выпущенной Гослитиздатом. Ее просмотр навел нас на размышления, давно для нас не новые. Мы ими поделимся.

Составление иностранных антологий начинают с подбора подлинников, к которым потом подыскивают требующиеся переводы. Составитель, А. И. Старцев, выбрал обратный путь, взяв за отправную точку определившиеся итоги. В основу собрания положен запас лучших русских переводов за полтора десятка лет, начиная с Жуковского, без заботы о том, лучшим ли удачам английского гения соответствуют эти лучшие свидетельства русского.

Такой подбор случайно подтвердил наше давнее убеждение. Переводы либо не имеют никакого смысла, либо их связь с оригиналами должна быть более тесной, чем принято. Соответствие текста – связь слишком слабая, чтобы обеспечить переводу целесообразность. Такие переводы не оправдывают обещания. Их бледные пересказы не дают понятия о главной стороне предмета, который они берутся отражать, – о его силе. Для того чтобы перевод достигал цели, он должен быть связан с подлинником более действительной зависимостью. Отношение между подлинником и переводом должно быть отношением основания и производного, ствола и отводка. Перевод должен исходить от автора, испытавшего воздействие подлинника задолго до своего труда. Он должен быть плодом подлинника и его историческим следствием.

Вот отчего подражания и заимствования, явления школы и примеры иностранных влияний ближе вводят в мир европейских образцов, чем прямые их переложения. Картину таких влияний и представляет названное собрание. Антология рисует английскую поэзию с точки зрения силы, которую мы с ее стороны испытали. Она показывает английскую поэзию в ее русском действии. Это в глубочайшей степени соответствует самой идее перевода, его назначению.

Мы уже сказали, что переводы неосуществимы, потому что главная прелесть художественного произведения в его неповторимости. Как же может повторить ее перевод?

Переводы мыслимы: потому что в идеале и они должны быть художественными произведениями и, при общности текста, становиться вровень с оригиналами своей собственной неповторимостью. Переводы мыслимы потому, что до нас веками переводили друг друга целые литературы, и переводы – не способ ознакомления с отдельными произведениями, а средство векового общения культур и народов.

2

Возможности английской метрики неисчерпаемы. Немногосложность английского языка открывает богатейший простор для английского слога. Сжатость английской фразы – залог ее содержательности, а содержательность – порука ее музыкальности, потому что музыка слова состоит не в его звучности, а в соотношении между его звучанием и значением. В этом смысле английское стихосложение предельно музыкально.

Когда-то молодую англоманию Пушкина и Лермонтова мы не могли объяснить одним идейным влиянием Байрона. В их увлечении нам всегда чудилось какое-то ускользающее основание. Позднее, при нашем скромном знакомстве с Китсом и Суинберном, нас останавливала та же загадка. Мера нашего восхищения не покрывалась их собственной притягательностью. За их действием нам мерещился тот же тайный и повторяющийся придаток. Долго мы относили это явление к обаянию самой английской речи и преимуществам, которые она открывает для английской лирической формы. Мы ошибались. Таинственный придаток, сообщающий дополнительное очарование каждой английской строчке, есть незримое присутствие Шекспира и его влияния в целом множестве наиболее действенных и типических английских приемов и оборотов.

Совсем недавно редакторы «Антологии» уверовали, будто ее выпуску препятствует отсутствие в ней переводов из Шелли. За восполнением этого пробела редакторы обратились к Ахматовой, Зенкевичу и пишущему эти строки.

Вопреки предубеждению и противодействию редакции, нам продолжает казаться, что русским Шелли был и остался трехтомный Бальмонтский. В свое время этот труд был находкою, подобной открытиям Жуковского. Пренебрежение, высказываемое к этому собранию, зиждется на недоразумении. Обработка Шелли совпала с молодыми и творческими годами Бальмонта, когда его свежее своеобразие еще не было опорочено будущей водянистой искусственностью. Прискорбно, что поздний Бальмонт развенчивает раннего.

Мы с чрезвычайной неохотой, не предвидя от этого никакой радости, взялись за поэта, всегда казавшегося нам далеким и отвлеченным. Наверное, мы не ошиблись, и нас постигла неудача. Но мы не добились бы этого, если бы остались при своем старом взгляде на великого лирика. Чтобы прийти с ним в соприкосновение, даже ценой неуспеха, надо было взглянуть в него попристальней. Мы пришли к неожиданной концепции.

В заклинателе стихий и певце революций, безбожнике и авторе атеистических

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru трактатов нам открылся предшественник и провозвестник урбанистического мистицизма, которым дышали впоследствии русский и европейский символизм. Едва только в обращениях Шелли к облакам и ветру нам послышались будущие голоса Блока, Верхарна и Рильке, как все в нем оделось для нас плотью. Разумеется, мы все же переводили его как классика. Сказанное относится главным образом к «Оде западному ветру».

1943

ПЕРЕВОДЫ ИЗ П. Б. ШЕЛЛИ
ИНДИЙСКАЯ СЕРЕНАДА
В сновиденьях о тебе
Прерываю сладость сна,
Мерно дышащая ночь
Звездами озарена.
В грезах о тебе встаю,
И, всецело в их плену,
Как во сне, переношусь
Чудом к твоему окну.
Отзвук голосов плывет
По забывшейся реке,
Запах трав, как мысли вслух,
Носится невдалеке.
Безутешный соловей
Заливается в бреду.
Смертной мукою и я
Постепенно изойду.
Подыми меня с травы.
Я в огне, я тень, я труп.
К ледяным губам прижми
Животворный трепет губ.
Я, как труп, похолодел.
Телом всем прижмись ко мне,
Положи скорей предел
Сердца частой стукотне.
К...
Опошлено слово одно
И стало рутинной.
Над искренностью давно
Смеются в гостинной.
Надежда и самообман –
Два сходных недуга.
Единственный мир без румян –
Участие друга.
Любви я в ответ не прошу,
Но тем беззаветней
По-прежнему произношу
Обет долголетний.
Так бабочку тянет в костер
И полночь к рассвету,
И так заставляет простор
Кружиться планету.
СТРОКИ
Разобьется лампада,
Не затеплится луч.
Гаснут радуг аркады
В ясных проблесках туч.
Поломавшейся лютни
Кратковременен шум.
Верность слову минутней
Наших клятв наобум.
Как непрочны созвучья
И пыланье лампад.
Так в сердцах не живучи
Единенье и лад.
Рознь любивших бездонна,
Как у стен маяка

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Звон валов похоронный
Над душой моряка.
Минут первые ласки,
И любовь – из гнезда.
Горе жертвам развязки,
Слабый терпит всегда.
Что ж ты плачешь и ноешь,
Что ты, сердце, в тоске?
Не само ли ты строишь
Свой покой на песке?
Ты – добыча блужданий,
Как над глушью болот
Долгой ночью, в тумане,
Птичьей стаи полет.
Будет время, запомни,
На осенней заре
Ты проснешься бездомней
Голых нив в ноябре.
ОДА ЗАПАДНОМУ ВЕТРУ
О буйный ветер запада осенний!
Перед тобой толпой бегут листья,
Как перед чародеем привиденья,
То бурей желтизны и красноты,
То пестрым вихрем всех оттенков гнили;
Ты голых пашен черные пласты
Засыпал семенами в изобилье.
Весной трубы пронзительный раскат
Разбудит их, как мертвецов в могиле,
И теплый ветер, твой весенний брат,
Взовет их к жизни дудочкой пастушьей
И новой листвой оденет сад.
О дух морей, носящийся над сушей!
Творец и разрушитель, слушай, слушай!
Ты гонишь тучи, как круговорот
Листвы, не тонущей на водной глади,
Которую ветвистый небосвод
С себя роняет, как при листопаде.
То духи молний, и дожди, и гром.
Ты ставишь им, как пляшущей менаде,
Распущенные волосы торчком
И треплешь пряди бури. Непогода –
Как бы отходный гробовой псалом
Над прахом отбывающего года,
Ты высишь мрак, нависший невдали,
Как камень громоздящегося свода
Над черной усыпальницей земли.
Там дождь, и снег, и град. Внемли, внемли!
Ты в Средиземном море будишь хляби.
Под Байями, где меж прибрежных скал
Спит глубина, укачанная рябью,
И отраженный остров задремал,
Топя столбы причалов, и ступени,
И темные сады на дне зеркал.
И, одуряя запахом цветений,
Пучина расступается до дна,
Когда ты в мореходишь по колени.
Вся внутренность его тогда видна,
И водорослей и медуз тщедушье
От страха покрывает седина,
Когда над их сосудистой тушей
Твой голос раздается. Слушай, слушай!
Будь я листом, ты шелестел бы мной.
Будь тучей я, ты б нес меня с собою.
Будь я волной, я б рос пред крутизной
Стеною разъяренного прибоя.
О нет, когда б, по-прежнему дитя,
Я уносился в небо голубое
И с тучами гонялся не шутя,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Тогда б, участник твоего веселья,
Я сам, мольбой тебя не тяготя,
Отсюда улетел на самом деле.
Но я сражен. Как тучу и волну
Или листок, сними с песчаной мели
Того, кто тоже рвется в вышину
И горд, как ты, но пойман и в плену.
Дай стать мне лирой, как осенний лес,
И в честь твою ронять свой лист спросонья.
Устрой, чтоб постепенно я исчез
Обрывками разрозненных гармоний.
Суровый дух, позволь мне стать тобой!
Стань много иль еще неугомонней!
Развей кругом притворный мой покой
И временную мысль мертвечину.
Вздут, как закладываем, эту строкой
Золу из непогасшего камина.
Дай до людей мне слово донести,
Как ты заносишь семена в долину.
И сам раскатом трубным возвести:
Пришла Зима, зато Весна в пути!
ПОЛЬ-МАРИ ВЕРЛЕН

Сто лет тому назад, 30 марта 1844 года, в городе Меце родился великий лирический поэт Франции Поль Верлен. Чем может он занимать нас сейчас, в горячие наши дни, среди нашей нешуточности, в свете нашей ошеломляющей победы?

Он оставил яркую запись пережитого и виденного, по духу и выражению сходную с позднейшим творчеством Блока, Рильке, Ибсена, Чехова и других новейших писателей, а также связанную нитями глубокого родства с молодой импрессионистической живописью Франции, Скандинавских стран и России.

Художников этого типа окружала новая городская действительность, иная, чем Пушкина, Мериме и Стендаля. Был в расцвете и шел к своему концу девятнадцатый век с его капризами, самодурством промышленности, денежными бурями и обществом, состоявшим из жертв и баловней. Улицы только что замостили асфальтом и осветили газом. На них заседали фабрики, которые росли, как грибы, равно как и непомерно размножившиеся ежедневные газеты. Предельно распространились железные дороги, ставшие частью существования каждого ребенка, в разной зависимости от того, само ли его детство пролетало в поезде мимо ночного города или ночные поезда летели мимо его бедного окраинного детства.

На эту по-новому освещенную улицу тени ложились не так, как при Бальзаке, по ней ходили по-новому, и рисовать ее хотелось по-новому, в согласии с натурой. Однако главной новинкой улицы были не фонари и телеграфные провода, а вихрь эгоистической стихии, который пронесся по ней с отчетливостью осеннего ветра и, как листья с бульваров, гнал по тротуарам нищету, чахотку, проституцию и прочие прелести этого времени. Этот вихрь бросался в глаза каждому и был центром картины. Под его дуновеньем рабочее движение перешло в свою сознательную фазу. Его дыханье совсем особенно сложило угол зрения новых художников.

Они писали мазками и точками, намеками и полутонами не потому, что так им хотелось и что они были символистами. Символистом была действительность, которая вся была в переходах и броженьи; вся что-то скорее значила, нежели составляла, и скорее служила симптомом и знаменьем, нежели удовлетворяла. Все сместилось и перемешалось, старое и новое, церковь, деревня, город и народность. Это был несущийся водоворот условностей, между безусловностью оставленной и еще не достигнутой, отдаленное предчувствие главной важности века – социализма – и его лицевого события – русской революции.

И как реалист Блок дал высшую и единственную по близости картину Петербурга в этом знаменательном мельканьи, так поступил и реалист Верлен, отведя в своих непозволительно личных исповедях главную роль историческому времени и обстановке, среди которых протекали его паденья и раскаянья.

Он был сыном рано скончавшегося полковника, любимцем матери и женской дворни, и мальчиком был послан из провинции в Париж, в закрытое учебное заведение. Нечто сходное с жизнью Лермонтова было в его голубиной чистоте, вынесенной из женского круга, и в его последующей судьбе среди распущенных парижских товарищей. По

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru окончании школы он поступил чиновником в ратушу. 1870 год застал его ополченцем на парижских укреплениях. Он женился. Грянуло восстание. Он принял участие в работах Коммуны по делам печати. Это отразилось на его судьбе. По восстановлении порядка его рассчитали. Он запил. Тут судьба послала ему злого гения в виде того чудовища одаренности, каким был буян, оригинал и поэт-подросток Артюр Рембо.

Он сам на свою голову выкопал этого «начинающего» где-то в Шарлеруа и выписал в Париж. С поселения Рембо у Верленов их нормальная жизнь кончилась. Дальнейшее существование Верлена залито слезами его жены и ребенка. Начались скитания Рембо и Верлена, навсегда оставившего семью, по большим дорогам Франции и Бельгии, совместный запой, полуголодная жизнь в Лондоне на грошовые заработки, драка в Штутгарте, каталажки и больницы.

Однажды в Брюсселе после крупной ссоры Верлен выбежал за уходящим от него Рембо, два раза выстрелил по нем вслед, ранил, был арестован и приговорен судом к двухгодичному заключению в тюрьме в Монсе.

После этого Рембо отправился в Африку завоевывать новые области Менелику Абиссинскому, к которому поступил на службу, а Верлен в тюрьме написал одну из своих лучших книг.

Он умер зимой 1896 года, не прибавив ничего поражающего к своей давно уже сложившейся славе, окруженный почтительным вниманием молодежи и подражателей.

Верлен рано начал писать. «Сатурнические стихи» его первой книги были написаны в коллеже. Его обманчивая поэтика, как и заглавия некоторых его книг, вроде «Песен без слов» (названия для произведений словесности достаточно дерзкого), наводило на ложные мысли. Можно было думать, что пренебрежение к стилистике, которое он провозглашал, внушено стремленьем к пресловутой «музыкальности» (ее редко кто понимает), что он жертвует смысловую и графическую сторону поэзии в пользу вокальной. Это не так. Совсем напротив. Как всякий большой художник, он требовал «не слов, а дела» даже и от искусства слова, то есть хотел, чтобы поэзия содержала действительно пережитое или свидетельскую правду наблюдателя.

Вот что по этому поводу говорит он в знаменитом своем стихотворении «Искусство поэзии», превратно послужившем манифестом зауми и «напевности».

О, если б в бунте против правил
Ты рифмам совести прибавил!
И дальше:

Пускай в твоём стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.
Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря, –
Все прочее – литература.

Верлен имел право говорить так. В своих стихах он умел подражать колоколам, уловил и закрепил запахи преобладающей флоры своей родины, с успехом передразнивал птиц и перебрал в своем творчестве все переливы тишины, внутренней и внешней, от зимнего звездного безмолвия до летнего оцепененья в жаркий солнечный полдень. Он как никто выразил долгую гложущую и неотпускающую боль утраченного обладания, все равно, будь то утрата бога, который был и которого не стало, или женщины, которая переменяла свои мысли, или места, которое стало дороже жизни и которое надо покинуть, или утрата покоя. Кем надо быть, чтобы представить себе большого и победившего художника медиумической крошкой, испорченным ребенком, который не ведает, что творит. Наши представления также недооценивают орлиной трезвости Блока, его исторического такта, его чувства земной уместности, неотделимой от гения. Нет, Верлен великолепно знал, что ему надо и чего недостает французской поэзии для передачи того нового вихря в душе и в городе, о котором речь шла выше. И в любой степени пьянства или маранья ради баловства, разложив ощущение до желаемой границы и приведя мысли в высшую ясность, он давал языку, на котором писал, ту беспредельную свободу, которая и была его открытием в лирике и которая встречается только у мастеров прозаического диалога в романе и драме. Парижская фраза во всей ее нетронутости и чарующей меткости влетала с улицы и ложилась в строчку целиком, без малейшего ущемленья, как мелодический материал для всего последующего построенья. В этой

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru поступательной непринужденности – главная прелесть Верлена. Обороты французской речи были для него неделимы. Он писал целыми реченьями, а не словами, не дробил их и не переставлял.

Просты и естественны многие, если не все, но они просты в той начальной степени, когда это дело их совести и любопытно только то, искренне ли они просты или притворно. Такая простота величина нетворческая и никакого отношения к искусству не имеет. Мы же говорим о простоте идеальной и бесконечной. Такою простотой и был прост Верлен. По сравнению с естественностью Мюссе Верлен естествен непредвосхитимо и не сходя с места, он по-разговорному, сверхъестественно естествен, то есть он прост не для того, чтобы ему поверили, а для того, чтобы не помешать голосу жизни, рвущемуся из него.

Вот, собственно, и все, что мы себе позволили сказать по ограниченности времени и места.

1944

ПЕРЕВОДЫ ИЗ П.-М. ВЕРЛЕНА

НОЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Ночь. Дождь. Вдали неясный очерк выбит:
В дождливом небе старый город зыбит
Разводы крыш и башенных зубцов.
На виселице – тени мертвецов,
Без угомону пляшущих чакону,
Когда с налету их клюют вороны,
Меж тем как волки пятки им грызут.
Кой-где терновый куст, и там и тут
На черном поле измороси мгливой –
Колючие отливы остролиста.
И шествие: три узника по ней
Под пешей стражей в двести бердышей,
Смыкающей еще лишь неизбывней
Железо пик в железной сетке ливня.
ТАК КАК БРЕЗЖИТ ДЕНЬ...
Так как брезжит день, и в близости рассвета,
И ввиду надежд, разбитых было в прах,
Но сулящих мне, что вновь по их обету
Это счастье будет все в моих руках, –
Навсегда конец печальным размышленьям,
Навсегда – недобрым грезам; навсегда –
Поджиманью губ, насмешкам, и сомненьям,
И всему, чем мысль бездушная горда.
Чтобы кулаков не смела тискать злоба.
Легче на обиды пошлости смотреть.
Чтобы сердце зла не поминало. Чтобы
Не искала грусть в вине забвенья впредь.
Ибо я хочу в тот час, как гость лучистый
Ночь моей души, спустившись, озарил,
Ввериться любви, без умиранья чистой
Именем за ней парящих добрых сил.
Я доверюсь вам, очей моих зарницы,
За тобой пойду, вожатого рука,
Я пойду стезей тернистой ли, случится,
Иль дорога будет мшиста и мягка.
Я пройду по жизни непоколебимо
Прямо за судьбой, куда глаза глядят.
Я ее приму без торга и нажима.
Много будет встреч, и стычек, и засад.
И коль скоро я, чтоб скоротать дорогу,
Песнею-другою спутнице польщу,
А она судья, мне кажется, не строгий,
Я про рай иной и слышать не хочу.

ЗЕЛЕНЬ

Вот листья, и цветы, и плод на ветке спелый,
И сердце, всем биеньем преданное вам.
Не вздумайте терзать его рукою белой

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И окажите честь простым моим дарам.
Я с воли только что и весь покрыт росой,
Оледенившей лоб на утреннем ветру.
Позвольте, я чуть-чуть у ваших ног в покое
О предстоящем счастье мысли соберу.
На грудь вам упаду и голову понурю,
Всю в ваших поцелуях, оглушивших слух,
И знаете, пока угомонится буря,
Сосну я, да и вы переведите дух.
ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

За музыку только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.
Не церемонься с языком
И торной не ходи дорожкой.
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.
Так смотрят из-за покрывала,
Так зыблет полдни южный зной.
Так осень небосвод ночной
Вызвезживает как попало.
Всего милее полутон.
Не полный тон, но лишь полтона.
Лишь он венчает по закону
Мечту с мечтою, аль, басон.
Нет ничего острот коварней
И смеха ради шутовства:
Слезами плачет синева
От чесноку такой поварни.
Хребет риторике сверни.
О, если б в бунте против правил
Ты рифмам совести прибавил!
Не ты, – куда зайдут они?
Кто смерит вред от их подрыва?
Какой глухой или дикарь
Всучил нам побрякушек ларь
И весь их пустозвон фальшивый?
Так музыки же вновь и вновь!
Пускай в твоём стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.
Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря...
Все прочее – литература.

ТОМЛЕНИЕ

Я – римский мир периода упадка,
Когда, встречая варваров рои,
Акростихи слагают в забыты
Уже, как вечер, сдавшего порядка.
Душе со скуки нестерпимо гадко,
А говорят, на рубежах бои.
О, не уметь сломить лета свои!
О, не хотеть прожечь их без остатка!
О, не хотеть, о, не уметь уйти!
Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?
Все выпито, все съедено! Ни слова!
Лишь стих смешной, уже в огне почти,
Лишь раб дрянной, уже почти без дела,
Лишь грусть без объясненья и предела..

ХАНДРА

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра!
О дождик желанный,
Твой шорох – предлог

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.
Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.
Хандра ниоткуда,
На то и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.
* * *

Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.
То выглянет бледно
Под тусклой латунию,
То канет бесследно
Во мглу новолунье.
Обрывками дыма
Со стертою гранью
Деревья в тумане
Прносятся мимо.
То выглянет бледно
Под тусклой латунию,
То канет бесследно
Во мглу новолунье.
Худые вороны
И злые волчицы,
На что вам и льститься
Зимой разъяренной?
Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.

НИКОЛАЙ БАРАТАШВИЛИ

У Бараташвили есть поэма «Судьба Грузии». Ее герой, последний грузинский царь Ираклий Второй, собираясь отдать измученную войнами страну под русское покровительство, говорит, что хочет видеть ее избавленной от набегов восточных соседей, свободно вздохнувшей, счастливо пользующейся плодами безмятежного труда и просвещения.

Такою застал Грузию при своем рождении величайший грузинский поэт нового времени Николай Бараташвили. Грузинское дворянство породнилось с русским и в совместной деятельности с ним втянулось в общий ход общероссийских государственных дел и высших умственных интересов Петербурга и Европы. Прежде существовавшие здесь зачатки западного влияния усилились.

Круг нескольких княжеских семейств, в котором вырос Николай Бараташвили, был именно тем передовым кругом, в который благодаря Грибоедову, наверное, попадали на грузинском Кавказе Пушкин и Лермонтов.

Сверх пестрой восточной чужеземщины, какую встречал их Тифлис, они где-то сталкивались с каким-то могучим и родственным бродилом, которое вызывало в них к жизни и поднимало на поверхность самое родное, самое дремлющее, самое затаенное. В этом кругу было все как в Петербурге – вино, карты, остроумие, французская речь, поклоненье женщине и гордая, готовая отразить любую оплошность, заносчивая удаль. Тут так же были знакомы с долгами и кредиторами, устраивали заговоры, попадали на гауптвахту, и тоже разорялись, плакали, и писали в восемнадцать лет горячие, порывистые стихи неповторимого одухотворения и вслед за тем рано умирали.

Отец Николая Бараташвили был обедневший предводитель грузинского дворянства, загубивший свое состояние на приемы и угощенья. Жизнь его сына Николая, бедная внешними событиями и проведенная в нужде и незаметности, была расплатою за эту пышность.

Он родился 22 ноября 1816 года в Тифлисе, учился в приходской школе и кончил

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru гимназию. Его мечтам о военной карьере не суждено было сбыться, потому что мальчиком он сломал себе ногу и остался хромым на всю жизнь. Не осуществилось и другое его желание – завершить свое образование в одном из русских университетов. Расстроенные дела отца и необходимость поддерживать семью заставили его искать места на службе. Прослужив в небольших чинах на разных административных должностях, он в 1845 году был назначен помощником уездного начальника в Гянджу. По приезде туда он заболел свирепствовавшей там злокачественной лихорадкой и умер там 9 октября того же года.

Этот послужной список совершенно противоположен нашим представлениям о Бараташвили. Он кажется его отражением в кривом зеркале. Истинные черты его были резки и значительны. Они запомнились современникам и сохранены преданием.

В детстве он был сорванцом и бедовым мальчиком, в школе хорошим товарищем. Когда он вырос, он сердил тифлисское общество своими шутками и ядом своих насмешек. Своей привычкой говорить в глаза правду он казался ненормальным.

Он любил сестру Нины Грибоедовой, княжну Екатерину Чавчавадзе. Она вышла за другого. Всю жизнь он прожил с этой незаживающей раной, которую он сам все время растревал нежностью и ожесточением своей личной лирики и своими счетами с высшей грузинской аристократией, крупнейшей звездой которой сияла его ненаглядная, в замужестве владетельная княгиня мингрельская Дадиани.

Бараташвили был окружен литераторами. Григорий Орбелиани был его дядей, Александр Чавчавадзе – другом его отца.

Но его собственным писаниям придавали так мало значения, что едва ли он надеялся увидеть их напечатанными в близком будущем. Более дальние его расчеты были опрокинуты преждевременной смертью. Может быть, тот вид, в котором лежат его стихи перед нами, не представляет их окончательной редакции, и автор предполагал еще подвергнуть их дальнейшему отбору и шлифовке. Однако след гения, оставшийся в них, так велик, что именно он, этот дух, проникающий их, придает им последнее совершенство, более, может быть, значительное, чем если бы автор имел больше времени позаботиться об их внешности.

Лирику Бараташвили отличают ноты пессимизма, мотивы одиночества, настроения мировой скорби.

Счастливые эпохи с их верою в человека и восприимчивость потомства позволяют художникам высказывать только главное, почти не касаясь побочного, в надежде на то, что воображение читателя само восполнит отсутствующие подробности. Отсюда некоторая неточность языка и плодовитость классиков, естественная при большей легкости их очень общих и отвлеченных задач.

Художники-отщепенцы мрачной складки любят договариваться до конца. Они отчетливо доскональны из неверия в чужие силы. Отчетливость Лермонтова настойчива и высокомерна. Его детали покоряют нас сверхъестественно. В этих черточках мы узнаем то, что должны были бы доработать сами. Это магическое чтение наших мыслей на расстоянии. Секретом такого действия владел и Бараташвили.

Его мечтательность перемешана с чертами жизни и повседневности. На его творчестве лежит индивидуальная, одному ему свойственная печать, которую на него наложили особенности его времени. Описания в «Сумерках на Мтацминде» и «Ночи на Кабахи» не оказывали бы своего волшебного действия, если бы наряду с описаниями душевного состояния они не были еще более удивительными описаниями природы. Взрывы изобразительной стихии в его бесподобном, бешеном и вдохновенном «Мерани» ни с чем не сравнимы. Это символ веры большой борющейся личности, убежденной в своем бессмертии и в том, что движение человеческой истории отмечено целью и смыслом.

Лучшие стихотворения Бараташвили сверх названных – это его посвящения Екатерине Чавчавадзе и все стихи двух последних лет его жизни с его поразительным «Синим цветом» в том числе.

В 1893 году его прах был перенесен из Гянджи в Тифлис. 21 октября 1945 года вслед за Грузией, его родиной, весь Союз торжественно чествовал столетнюю годовщину его смерти.

1946

ПЕРЕВОДЫ ИЗ Н. БАРАТАШВИЛИ

СОЛОВЕЙ И РОЗА

Нераскрывшейся розе твердил соловей:
«О владычица роза, в минуту раскрытья
Дай свидетелем роскоши быть мне твоей –
С самых сумерек этого жду я события».
Так он пел. И сгустилась вечерняя мгла.
Дунул ветер. Блеснула луна с небосклона.
И умолк соловей. И тогда зацвела
Роза, благоуханно раскрывши бутоны.
Но певец пересилить дремоты не мог.
Хоры птиц на рассвете его разбудили.
Он проснулся, глядит: распустился цветок
И осыпать готов лепестков изобилье.
И взлетел соловей, и запел на лету,
И заплакал: «Слетайтесь, родимые птицы.
Как развеять мне грусть, чем избыть маету
И своими невзгодами с кем поделиться?
Я до вечера ждал, чтобы розан зацвел,
Твердо веря, что цвести он уже не перестанет.
Я не видел, что подвиг рожденья тяжел
И что все, что цветет, отцветет и увянет».

ТАИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС

Чей это странный голос внутри?
Что за причина вечной печали?
С первых шагов моих, с самой зари,
Только я бросил места, где бежали
Детские дни наших игр и баталий,
Только уехал из лона семьи, –
Голос какой-то, невнятный и странный,
Сопровождает везде, постоянно
Мысли, шаги и поступки мои:
«Путь твой особый. Ищи и найдешь».
Так он мне шепчет. Но я и доньше
В розысках вечных и вечно в унынье.
Где этот путь и на что он похож?
Совести ль это нечистой упрек
Мучит меня затаенно порою?
Что же такого содеять я мог,
Чтобы лишить мою совесть покоя?
Ангел-хранитель ли это со мной?
Демон ли, мой искуситель незримый?
Кто бы ты ни был, – поведай, открой,
Что за таинственный жребий такой
В жизни готовится мне роковой,
Скрытый, великий и неотвратимый?

НОЧЬ НА КАБАХИ

Люблю этих мест живописный простор.
Найдется ли что-нибудь в мире волшебней,
Чем луг под луною, когда из-за гребня
Повеет прохладой ветер с Коджор?
То плавно течет, то клокочет Кура,
Изменчивая, как страсти порывы.
Так было в тот вечер, когда молчаливо
Сюда я зашел, как во все вечера.
С нарядными девушками там и сям
Толпа кавалеров веселых бродила.
Луна догадалась, что в обществе дам
Царит не она, а земные светила,
И скрылась за тучи, оставшись в тени.
«Ты б спел что-нибудь, – говорят домочадцы
Любимцу семьи, одному из родни, –
Любое, что хочешь. Не надо ломаться».
И вот понемногу сдается певец.
Становится, выпятив грудь, начинает,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И кто не взволнуется, кто не растает
От песни, смертельной для женских сердец?
Тогда-то заметил я в белом одну,
И вижу, она меня тоже узнала.
И вот я теряюсь, и сердце упало,
Я скован, без памяти я и в плену!
Я раз ее видел в домашнем кругу.
Теперь она ланью у тигра в берлоге,
Средь шумного общества стынет в тревоге.
И я к ней, смутясь, подойти не могу.
Вдруг взгляд ее мне удастся поймать,
И я подхожу к ней, волненья не пряча,
И я говорю ей: «Какая удача!
Я счастлив, что с вами встречаюсь опять».
«Спасибо, – она говорит, – что хоть вы
Меня не забыли. Теперь это мода».
«Ваш образ не могут изгладить ни годы, –
я ей возражаю, – ни ропот молвы».
И вдруг ветерок колыхнул ей подол,
И ножка, тугая, как гроздь винограда,
На миг обозначилась из-под наряда,
И волнами сад предо мною пошел.
И выплывший месяц, светясь сквозь хрусталь,
Зажег на груди у нее ожерелье.
Но девушку звали, и рядом шумели.
Она убежала. Какая печаль!
МОЕЙ ЗВЕЗДЕ
На кого ты вечно в раздраженье?
Не везет с тобой мне никогда,
Злой мой рок, мое предназначенье,
Путеводная моя звезда!
Из-за облаков тебя не видя,
Думаешь, я разлюблю судьбу?
Думаешь, когда-нибудь в обиде
Все надежды в жизни погребу?
Наша связь с тобой, как узы брака:
Неба целого ты мне милей.
Как бы ни терялась ты средь мрака,
Ты – мерцанье сущности моей.
Будет время, – ясная погода,
Тишина, ни ветра, ни дождя, –
Ты рассыплешь искры с небосвода,
До предельной яркости дойдя.
Княжне Е(катери)не Ч(авчава)дзе
Ты силой голоса
И блеском исполненья
Мне озарила жизнь мою со всех сторон.
И счастья полосы,
И цепи огорчений,
Тобой я ранен и тобою исцелен.
Ты средоточие
Любых бесед повсюду.
Играя душами и судьбами шутя,
Людьми ворочая,
Сметая пересуды,
Ты неиспорченное, чистое дитя.
Могу сознаться я:
Когда с такою силой
Однажды «Розу» спела ты и «Соловья»,
Во мне ты грацией
Поэта пробудила,
И этим навсегда тебе обязан я.
СЕРЬГА
Головку ландыша
Качает бабочка.
Цветок в движенье.
На щеку с ямочкой
Сережка с камешком

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Ложится тенью.
Я вам завидую,
Серьга с сильфидою!
Счатливец будет,
кто губы жадные
Серьгой прохладною
чуть-чуть остудит.
Богов блаженнее,
Он на мгновение
Бессмертье купит.
И мир безгрозя
В парах амброзии
Его обступит.
* * *

Я помню, ты стояла
В слезах, любовь моя,
Но губ не разжимала,
Причину слез тая.
Не о земном уроне
Ты думала в тот миг.
Красой потусторонней
Был озарен твой лик.
Мне ныне жизнью всею
Предмет тех слез открыт,
что я осиротею,
Предсказывал твой вид.
Теперь, по сходству с теми,
Мне горечь всяких слез
Напоминает время,
когда я в счастье рос.
МОЯ МОЛИТВА

Отец небесный, снизойди ко мне.
Утихомирь мои земные страсти.
Нельзя отцу родному без участия
Смотреть на гибель сына в западне.
Не дай отчаяться и обнадежь,
Адам наказан был, огнем играя,
Но все-таки вкусил блаженство рая.
Дай верить мне, что помощь мне пошлешь.
Ключ жизни, утоли мою печаль
Водю из твоих святых истоков.
Спаси мой челн от бурь мирских пороков
И в пристань тихую его причаль.
О сердцевед, ты видишь все пути
И знаешь все, что я скажу, заране.
Мои нечаянные умолчанья
В молитвы мне по благости зачти.
* * *

Что странного, что я пишу стихи?
Ведь в них и чувства не в обычном роде.
Я б солнцем быть хотел, чтоб на восходе
Увенчивать лучами гор верхи.
Чтоб мой приход сопровождали птицы
Безумным ликованием вдалеке.
Чтоб ты была росой, моя царица,
И падала на розы в цветнике.
Чтобы тянулось, как жених к невесте,
К прохладе свежей светлое тепло.
Чтобы существованьем нашим вместе
Кругом все зеленело и цвело.
Любви не понимаю я иначе.
А если ты нашла, что я не прост,
Пусть будет жизнь избитой и ходячей –
Без солнца, без цветов, без птиц и звезд.
Но с этим ты сама в противоречье,
И далеко не так уже проста
Твоя, растущая от встречи к встрече,
Нечеловеческая красота.

* * *

Глаза с туманной поволокою,
Полузакрытые истомой,
Как ваша сила мне жестокая
Под стрелами ресниц знакома!
Руками белыми, как лилии,
Нас страсть заковывает в цепи.
Уже нас не спасут усилия,
Мы пленники великолепья.
О взгляды, острые, как ножницы!
Мы славим вашу бессердечность
И жизнь вам отдаем в заложницы,
Чтоб выкупом нам стала вечность.

* * *

Как змеи, локоны твои распались
По ниве счастья, по твоей груди.
Мои глаза от страсти разбежались,
Скорей оправь прическу! Пощади.
Когда же ветер, овевая ниву,
Заматывает локоны в клубки,
Я тотчас же в своей тоске ревнивой
Тебя ревную к ветру по-мужски.

МЕРАНИ

Стрелой несется конь мечты моей.
Вдогонку ворон каркает угрюмо.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.
Вперед, вперед, не ведая преград,
Сквозь вихрь, и град, и снег, и непогоду.
Ты должен сохранить мне дни и годы.
Вперед, вперед, куда глаза глядят!
Пусть оторвусь я от семейных уз.
Мне все равно. Где ночь в пути нагрянет,
Ночная даль моим ночлегом станет.
Я к звездам неба в подданство впишусь.
Я вверюсь скачке бешеной твоей
И исповедаюсь морскому шуму.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.
Пусть я не буду дома погребен.
Пусть не рыдает обо мне супруга.
Могилу ворон выроет, а вьюга
Завоет, возвращаясь с похорон.
Крик беркутов заменит певчих хор,
Роса небесная меня оплачет.
Вперед! Я слаб, но ничего не значит,
Вперед, мой конь! Вперед во весь опор!
Я слаб, но я не раб судьбы своей.
Я с ней борюсь и замысел таю мой.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.
Пусть я умру, порыв не пропадет.
Ты протоптал свой след, мой конь крылатый,
И легче будет моему собрату
Пройти за мной когда-нибудь вперед.
Стрелой несется конь мечты моей.
Вдогонку ворон каркает угрюмо.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.

* * *

Ты самое большое чудо Божье.
Так не губи меня красой своей.
Родителям я в мире всех дороже –
У нас в семье нет больше сыновей.
Я человек простой и немудрящий,
Подруга – бурка мне, а брат – кинжал.
Но будь со мною ты, – в дремучей чаще
Мне б целый мир с тобой принадлежал.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

* * *

Осенний ветер у меня в саду
Сломал нежнейший из цветов на грядке,
И я никак в сознание не приду,
Тоска в душе и мысли в беспорядке.
Тоска не только в том, что он в грязи,
А был мне чем-то непонятным дорог, –
Шаг осени услышал я вблизи,
Отцветшей жизни помертвелый шорох.

* * *

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеvu иных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевою.
Это цвет моей мечты,
Это краска высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.
Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.
Это синий, негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый, зимний дым
Мглы над именем моим.

ЗАМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДАМ ИЗ ШЕКСПИРА

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ ПЕРЕВОДОВ

В разное время я перевел следующие произведения Шекспира. Это драмы: «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», «Отелло», «Король Генрих Четвертый» (первая и вторая части), «Макбет» и «Король Лир».

Потребность театров и читателей в простых, легко читающихся переводах велика и никогда не прекращается. Каждый переводивший льстит себя надеждой, что именно он больше других пошел этой потребности навстречу. Я не избег общей участи.

Не представляют исключения и мои взгляды на существо и задачи художественного перевода. Вместе со многими я думаю, что дословная точность и соответствие формы не обеспечивают переводу истинной близости. Как сходство изображения и изображаемого, так и сходство перевода с подлинником достигается живостью и естественностью языка. Наравне с оригинальными писателями переводчик должен избегать словаря, не свойственного ему в обиходе, и литературного притворства, заключающегося в стилизации. Подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности.

ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ШЕКСПИРА

Стиль Шекспира отличают три особенности. Его драмы глубоко реалистичны по духу. Их выполнение по-разговорному естественно в местах, написанных прозой, или когда куски стихотворного диалога сопряжены с действием или движением. В остальных случаях потоки его белого стиха повышено метафоричны, иногда без надобности и тогда в ущерб правдоподобию.

Образная речь Шекспира неоднородна. Порой это высочайшая поэзия, требующая к себе соответствующего отношения, порой откровенная риторика, нагромождающая десяток пустых околичностей вместо одного вертевшегося на языке у автора и второпях не уловленного слова. Как бы то ни было, метафорический язык Шекспира в своих прозрениях и риторике, на своих вершинах и в своих провалах верен главной сущности всякого истинного иносказания.

Метафоризм – естественное следствие недолговечности человека и надолго

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru задуманной огромности его задач. При этом несоответствии он вынужден смотреть на вещи по-орлиному зорко и объясняться мгновенными и сразу понятными озарениями. Это и есть поэзия. Метафоризм – стенография большой личности, скоропись ее духа.

Бурная живость кисти Рембрандта, Микеланджело и Тициана не плод их обдуманного выбора. При ненасытной жажде написать по целой вселенной, которая их обуревала, у них не было времени писать по-другому. Импрессионизм извечно присущ искусству. Это выражение духовного богатства человека, изливающегося через край его обреченности.

Шекспир объединил в себе далекие стилистические крайности. Он совместил их так много, что кажется, будто в нем живет несколько авторов. Его проза законченна и отделанна. Она написана гениальным комиком-деталистом, владеющим тайной сжатости и даром передразнивания всего любопытного и диковинного на свете.

Полная противоположность этому – область белого стиха у Шекспира. Ее внутренняя и внешняя хаотичность приводила в раздражение Вольтера и Толстого.

Очень часто некоторые роли Шекспира проходят несколько стадий завершения. Какое-нибудь лицо сперва говорит в сценах, написанных стихами, а потом вдруг раздражается прозой. В таких случаях стихотворные сцены производят впечатление подготовительных, а прозаические – заключительных и конечных.

Стихи были наиболее быстрой и непосредственной формой выражения Шекспира. Он к ним прибегал как к средству наискорейшей записи мыслей. Это доходило до того, что во многих его стихотворных эпизодах мерещатся сделанные в стихах черновые наброски к прозе.

Сила шекспировской поэзии заключается в ее могучей, не знающей удержу и разметавшейся в беспорядке эскизности.

РИТМ ШЕКСПИРА

Ритм Шекспира – первооснова его поэзии. Размер подсказал Шекспиру часть его мыслей, слова его изречений. Ритм лежит в основании шекспировских текстов, а не завершительно обрамляет их. Ритмическими взрывами объясняются некоторые стилистические капризы Шекспира. Движущая сила ритма определила порядок вопросов и ответов в его диалогах, скорость их чередования, длину и короткость его периодов в монологах.

Этот ритм отразил завидный лаконизм английской речи, позволяющей в одной строчке английского ямба охватить целое изречение, состоящее из двух или нескольких взаимно противопоставленных предложений. Это ритм свободной исторической личности, не творящей себе кумира и, благодаря этому, искренней и немногословной.

«ГАМЛЕТ»

Явственнее всего этот ритм в «Гамлете». Здесь у него тройное назначение. Он применен как средство характеристики отдельных персонажей, он материализует в звуке и все время поддерживает преобладающее настроение трагедии, и он возвышает и сглаживает некоторые грубые сцены драмы.

Ритмическая характеристика в «Гамлете» ярка и рельефна. По-одному говорит Полоний, или король, или Гильденстерн и Розенкранц, по-другому – Лаэрт, Офелия, Горацио и остальные. Легковерие королевы сквозит не только в ее словах, а в манере говорить нараспев и растягивать гласные.

Но резче всего ритмическая определенность самого Гамлета. Она так велика, что кажется нам сосредоточенною в каком-то все время чудящемся, как бы повторяющемся при каждом выходе героя, но на самом деле не существующем, вводном ритмическом мотиве, ритмической фигуре. Это как бы достигший ошутительности пульс всего его существа. Тут и непоследовательность его движений, и крупный шаг его решительной походки, и гордые полуповороты головы. Так скачут и летят мысли его монологов, так разбрасывает он направо и налево свои надменные и насмешливые ответы вертящимся вокруг него придворным, так вперяет глаза в даль неведомого, откуда уже окликнула его однажды тень умершего отца и всегда может заговорить снова.

Так же не поддается цитированию общая музыка «Гамлета». Ее нельзя привести в виде отдельного ритмического примера. Несмотря на эту бестелесность, ее присутствие так зловеще и вещественно врастает в общую ткань драмы, что в

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru соответствии сюжету ее невольно хочется назвать духовидческой и скандинавской. Эта музыка состоит в мерном чередовании торжественности и тревожности. Она сгущает до предельной плотности атмосферу вещи и позволяет выступить тем полнее ее главному настроению. Однако в чем оно заключается?

По давнишнему убеждению критики, «Гамлет» – трагедия воли. Это правильное определение. Однако в каком смысле понимать его? Безволие было неизвестно в шекспировское время. Этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вяжется с представлением о слабонервности. По мысли Шекспира, Гамлет – принц крови, ни на минуту не забывающий о своих правах на престол, баловень старого двора и самонадеянный вследствие своей большой одаренности самородок. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее напротив, зрителю предоставляется судить, как велика жертва Гамлета, если при таких видах на будущее он поступает своими выгодами ради высшей цели.

С момента появления призрака Гамлет отказывается от себя, чтобы «творить волю пославшего его». «Гамлет» не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения. Когда обнаруживается, что видимость и действительность не сходятся и их разделяет пропасть, не существенно, что напоминает о лживости мира приходит в сверхъестественной форме и что призрак требует от Гамлета мщения. Гораздо важнее, что волею случая Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. «Гамлет» – драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения.

Ритмическое начало сосредоточивает до осязательности этот общий тон драмы. Но это не единственное его приложение. Ритм оказывает смягчающее действие на некоторые резкости трагедии, которые вне круга его гармонии были бы невыносимы. Вот пример.

В сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает с безжалостностью послебайроновского себялюбивого отщепенца. Его иронии не оправдывает и его собственная любовь к Офелии, которую он при этом с болью подавляет. Однако посмотрим, что вводит эту бессердечную сцену? Ей предшествует знаменитое «Быть или не быть», и первые слова в стихах, которые говорят друг другу Гамлет и Офелия в начале обидной сцены, еще пропитаны свежей музыкой только что отзвучавшего монолога. По горькой красоте и беспорядку, в котором обгоняют друг друга, теснятся и останавливаются вырывающиеся у Гамлета недоумения, монолог похож на внезапную и обрывающуюся пробу органа перед началом реквиема. Это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силою чувства возвышающиеся до горечи Гефсиманской ноты.

Не удивительно, что монолог предпослан жестокости начинающейся развязки. Он ей предшествует, как отпевание погребению. После него может наступить любая неизбежность. Все искуплено, омыто и возвеличено не только мыслями монолога, но и жаром и чистотой звенящих в нем слез.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

Если так велика роль музыки в «Гамлете», то что скажем мы о «Ромео и Джульетте»? Тема трагедии – первая юношеская любовь и ее сила. Где и разыграть благозвучию и мерности, как не в таком произведении? Но оно нас обманывает. Лиризм совсем не то, что мы думали. Шекспир не пишет дуэтов и арий. С пронизательностью гения он идет по совершенно другой дороге.

Назначение музыки в этой вещи отрицательное. Она воплощает в трагедии враждебную любящим силу светской лжи и житейской суетности.

До знакомства с Джульеттой Ромео пылает выдуманной страстью к упоминаемой заочно и ни разу не показанной на сцене Розалине. Это романтическое ломание в духе тогдашней моды. Оно выгоняет Ромео по ночам на одинокие прогулки, а днем он отсыпается, заслонившись ставнями от солнца. Все первые сцены, пока это продолжается, реплики Ромео написаны неестественными рифмованными стихами. В самой певучей форме Ромео несет все время высокопарный вздор на манерном языке гостиных той эпохи. Но стоит ему впервые на балу увидеть Джульетту, как он останавливается перед ней как вкопанный и от его мелодического способа выражаться ничего не остается.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
В ряду чувств любовь занимает место притворно смирившейся космической стихии. Любовь так же проста и безусловна, как сознание и смерть, азот и уран. Это не состояние души, а первооснова мира. Поэтому, как нечто краеугольное и первичное, любовь равнозначительна творчеству. Она не меньше его, и ее показания не нуждаются в его обработке. Самое высшее, о чем может мечтать искусство, – это подслушать ее собственный голос, ее всегда новый и небывалый язык. Благозвучие ей ни к чему. В ее душе живут истины, а не звуки.

Как все произведения Шекспира, большая часть трагедии написана белым стихом. В этой форме объясняются герой и героиня. Но размер не подчеркнут в этом стихе и не выпирает. Это не декламация. Форма не заслоняет своим самолюбованием бездонно-скромного содержания. Это пример наивысшей поэзии, которую в ее лучших образцах всегда пропитывают простота и свежесть прозы. Речь Ромео и Джульетты – образец настроенного и прерывающегося разговора тайком, вполголоса. Такой и должна быть ночью речь смертельного риска и волнения. Это будущая прелесть «Виктории» и «Войны и мира» и та же чарующая чистота и непредвосхитимость.

В трагедии оглушительны и повышено ритмичны сцены уличного и домашнего многолюдства. За окном звенят мечи дерущейся родни Монтеки и Капулетти и льется кровь, на кухне перед нескончаемыми приемами бранятся стряпухи и стучат ножи поваров, и под этот стук резни и стряпни, как под громовой такт шумового оркестра, идет и разыгрывается трагедия тихого чувства, в главной части своей написанная беззвучным шепотом заговорщиков.

«ОТЕЛЛО»

У самого Шекспира не было деления пьес на акты и сцены. Это разбивка позднейших издателей. В ней нет насилия, пьесы сами легко поддаются ей по своему внутреннему членению.

Хотя первоначальные тексты шекспировских драм печатались подряд, без перерывов, отсутствие разделов не мешало им отличаться строгостью построения и развития, в наши дни необычными.

Это в особенности относится к серединам шекспировских драм, содержащим их тематические разработки. Обыкновенно они обнимают третий акт с некоторыми долями второго и четвертого. В пьесах Шекспира они занимают место пружинной коробки в заводном механизме.

В начальных и заключительных частях своих драм Шекспир вольно komponует частности интриги, а потом так же, играючи, разделяется с последними обрывками ее нитей. Его экспозиции и финалы навеяны жизнью и написаны с натуры в форме быстро сменяющихся друг друга картин, с величайшей в мире свободой и ошеломляющим богатством фантазии.

Но в средних частях драм, когда узел интриги завязан и начинается его распутывание, Шекспир не дает себе привычной воли и в своей ложной старательности оказывается рабом и детищем века.

Его третьи акты подчинены механизму интриги в степени, неведомой позднейшей драматургии, которую он сам научил смелости и правде. В них царит слишком слепая вера в могущество логики и то, что нравственные абстракции существуют реально. Изображение лиц с правдоподобно распределенными светотенями сменяется обобщенными образами добродетелей или пороков. Появляется искусственность в расположении поступков и событий, которые начинают следовать в сомнительной стройности разумных выводов, как силлогизмы в рассуждении.

В дни Шекспирова детства в английской провинции еще ставили средневековые нравоучительные аллегории. Они дышали формализмом отжившей схоластики. Шекспир ребенком мог видеть эти представления. Старомодная добросовестность его разработок – пережиток пленившей его в детстве старины.

Четыре пятых Шекспира составляют его начала и концы. Вот над чем смеялись и плакали люди. Именно они создали славу Шекспира и заставили говорить о его жизненной правде, в противоположность мертвому бездушию ложноклассицизма.

Но нередко правильным наблюдениям дают неправильные объяснения. Часто можно слышать восторги по поводу «Мышеловки» в «Гамлете» или того, с какой железной необходимостью разрастается какая-нибудь страсть или последствия какого-нибудь

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru преступления у Шекспира. От восторгов захлебываются на ложных основаниях. Восторгаться надо было бы не «Мышеловкою», а тем, что Шекспир бессмертен и в местах искусственных. Восторгаться надо тем, что одна пятая Шекспира, представляющая его третьи акты, временами схематические и омертвелые, не мешает его величию. Он живет не благодаря, а вопреки им.

Несмотря на силу страсти и гения, сосредоточенные в «Отелло», и на его театральную популярность, сказанное в значительной степени относится к этой трагедии.

Вот одна за другой ослепительные набережные Венеции, дом Брабанцио, арсенал. Вот чрезвычайное ночное заседание сената и непринужденный рассказ Отелло о зачатках постепенно зарождающейся взаимности между ним и Дездемоной. Вот картина морской бури у побережий Кипра и пьяной драки ночью в крепости. Вот известная сцена ночного туалета Дездемоны с пением еще более знаменитой «Ивушки» – верх трагической естественности перед страшными красками финала.

Но вот несколькими поворотами ключа Яго в средней части заводит, как будильник, доверчивость своей жертвы, и явление ревности с хрипом и вздрагиванием, как устаревший механизм, начинает раскручиваться перед нами с излишней простотой и слишком далеко зашедшей обстоятельностью. Скажут, что такова природа этой страсти и что это дань условностям сцены, требующей плоской ясности. Может быть. Но вред от этой дани не был бы так велик, если бы ее платил менее последовательный и гениальный художник. В наши дни приобретает особый интерес другая частность.

Случайно ли, что главный герой трагедии – черный, а все, что у него есть дорогого в жизни, – белая? Что значит этот подбор цветов? Означает ли это только то, что права каждой крови на человеческое достоинство одинаковы? Нет, мысли Шекспира, двигавшиеся в этом направлении, шли гораздо дальше.

Идеи равенства наций не было при нем. Жила полною жизнью более всеобъемлющая мысль христианства о другом роде их безразличия. Эту мысль интересовало не то, чем рождался человек, а то, к чему он в жизни приходил и чем становился. Для Шекспира черный Отелло исторический человек и христианин, и это тем более, что рядом с ним белый Яго – необращенное доисторическое животное.

«АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА»

У Шекспира есть особняком стоящие трагедии, вроде «Макбета» и «Лира», образующие самобытные миры, единственные в своем роде. Есть комедии, представляющие царство безраздельной выдумки и вдохновения, колыбель будущего романтизма. Есть исторические хроники из английской жизни, пылкие славословия родине, произнесенные величайшим из ее сынов. Часть событий, которые Шекспир описал в этих хрониках, продолжались в событиях окружавшей его жизни, и Шекспир не мог относиться к ним с трезвым беспристрастием.

Таким образом, несмотря на внутренний реализм, проникающий творчество Шекспира, напрасно стали бы мы искать в произведениях перечисленных разрядов объективности. Ее можно найти в его римских драмах.

«Юлий Цезарь» и в особенности «Антоний и Клеопатра» написаны не из любви к искусству, не ради поэзии. Это плоды изучения неприкрашенной повседневности. Ее изучение составляет высшую страсть всякого изобразителя. Это изучение привело к «физиологическому роману» девятнадцатого столетия и составило еще более бесспорную прелесть Чехова, Флобера и Льва Толстого.

Но почему вдохновительницей реализма явилась такая глубокая старина, как Древний Рим? Этому не надо удивляться. Именно своею отдаленностью предмет разрешал Шекспиру называть вещи своими именами. Он мог говорить все, что ему заблагорассудилось, в политическом, нравственном и любом другом отношении. Перед ним был чужой и далекий мир, давно закончивший свое существование, замкнувшийся, объясненный и неподвижный. Какое желание мог он возбуждать? Его хотелось рисовать.

«Антоний и Клеопатра» – роман кутилы и обольстительницы. Шекспир описывает их прожигание жизни в тонах мистерии, как подобает настоящей вакханалии в античном смысле.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru Историками записано, что Антоний с товарищами по пирам и Клеопатра с наиболее близкой частью двора не ждали добра от своего возведенного в служение разгула. В предвидении развязки они задолго до нее дали друг другу имя бессмертных самоубийц и обещание умереть вместе.

Так кончается и трагедия. В решающую минуту смерть оказывается той рисовальщицей, которая обводит повесть недостававшей ей общему чертою. На фоне походов, пожаров, измен и военных поражений мы в два приема прощаемся с обоими главными лицами. В четвертом акте закаляется герой, в пятом – лишает себя жизни героиня.

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЗРИТЕЛЯ

Английские хроники Шекспира изобилуют намеками на тогдашнюю злобу дня. В то время газет не было. Чтобы узнать новости, замечает Дж.Б.Гаррисон в «Жизни Англии в дни Шекспира», сходились в питейных и театрах. Драма говорила обиняками. Не надо удивляться, что простой народ так понимал эти подмигивания. Намеки касались обстоятельств, близких каждому.

Политической подоплекой времени была трудная, с воодушевлением начатая, но скоро надоевшая война с Испанией. Ее пятнадцать лет вели на море и на суше, у берегов Португалии, в Нидерландах и в Ирландии.

Насмешки отрицателя фальстафа над слишком затверженной воинственной фразой забавляли мирную простую публику, великолепно постигавшую, во что они метили, а в сценах фальстафовой вербовки рекрут и их освобождения за взятку зритель с еще большим смехом узнавал свои собственные испытания.

Гораздо удивительнее другой пример понятливости тогдашнего зрителя.

Как у всех елисаветинцев, сочинения Шекспира пестрят обращениями к истории, параллелями из древних литератур и мифологическими именами и названиями. Для того чтобы их понять теперь со справочником в руках, требуется классическое образование. А нам говорят, что средний лондонский зритель того времени, смотря «Гамлета» или «Лира», глотал на лету эти поминутно мелькавшие классицизмы и их успешно переваривал. Как этому поверить?

Но, во-первых, напрасно думать, что искусство вообще когда-нибудь поддается окончательному пониманию и что наслаждение им в этом нуждается. Подобно жизни, оно не может обойтись без доли темноты и недостаточности. Но не в этом дело.

Совершенно переменялся состав знаний. Латынь, которая теперь кажется признаком высшего образования, тогда была общим порогом низшего, как церковнославянский в древнерусском воспитании. В начальных, так называемых «грамматических» школах того времени, одну из которых закончил Шекспир, латынь была разговорным языком школьников, и, по сообщению историка Тревелиана, им запрещалось пользоваться английским даже в дворовых играх. Для лондонских подмастерьев и приказчиков, умевших читать и писать, фортуны, Гераклы и Ниобеи были такой же азбукой, как зажигание в автомобиле или начатки электричества для современного городского подростка.

Шекспир застал старый, столетний быт, более или менее сложившийся. Этот быт был всем понятен. Время Шекспира было праздником в истории Англии. Уже следующее царствование снова вывело вещи из равновесия.

ПОДЛИННОСТЬ ШЕКСПИРОВА АВТОРСТВА

Шекспир целен и везде верен себе. Он связан особенностями своего словаря. Он под разными именами переносит некоторые характеры из одного произведения в другое и перепевает себя на множество иных ладов. Среди этих перифраз особенно выделяются его внутренние повторения в пределах одного произведения.

Гамлет говорит Горацио, что он настоящий человек и не флюгер, что на нем нельзя играть, как на дудке. Через несколько страниц Гамлет предлагает Гильденстерну поиграть на флейте в том же аллегорическом смысле.

В тираде первого актера о жестокости фортуны, допустившей убийство Приама, боги призываются в наказание ей отобрать у нее колесо, символ ее власти, сломать его и обломки низринуть с облаков в бездну Тартара. Через несколько страниц Розенкранц в беседе с королем сравнивает власть монарха с колесом водоподъемного

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru ворота, укрепленного на круче, которое сокрушит все на пути своего падения, если поколебать его устои.

Джульетта выхватывает кинжал, висевший на боку у мертвого Ромео, и закаляется со словами: «Переходи сюда, кинжал, – вот твое место. Торчи в груди у меня и покрывайся ржавчиной, а я умру». Несколькими строчками ниже старик Капулетти восклицает то же самое о кинжале, ошибемся местом и, вместо чехла на кушаке Ромео, сидящем в груди у его дочери. – И так без конца, почти на каждом шагу. Что это значит?

Переводить Шекспира – работа, требующая труда и времени. Принявшись за нее, приходится заниматься ежедневно, разбив задачу на доли, достаточно крупные, чтобы работа не затянулась. Это каждодневное продвижение по тексту ставит переводчика в былые положения автора. Он день за днем воспроизводит движения, однажды проделанные великим прообразом. Не в теории, а на деле сближаешься с некоторыми тайнами автора, ощутимо в них посвящаешься.

Когда переводчик натывается на повторения, о которых была речь выше, он на собственном опыте убеждается в непродолжительности, в какой следуют друг за другом эти повторения, и, ошеломляясь, задает себе невольно вопрос: кто и при каких условиях мог дать доказательство такой непамятливости на протяжении нескольких суток?

Тогда с осязательностью, которая не дана исследователю и биографу, переводчику открывается определенность того, что жило в истории лица, которое называлось Шекспиром и было гением. Это лицо в двадцать лет написало тридцать шесть пятиактных пьес, не считая двух поэм и собрания сонетов. Таким образом, вынужденное писать в среднем по две пьесы в год, оно не имело времени перечитывать себя и, сплошь да рядом забывая сделанное накануне, второпях повторялось.

Тогда непонятность «беконианской» теории охватывает с новой силой. Начинаешь еще больше удивляться тому, зачем понадобилось простоту и правдоподобие Шекспировой биографии заменять путаницей выдуманных тайн, подтасовок и их мнимых раскрытий.

Мыслимо ли, невольно спрашиваешь себя, чтобы Рэтленд, Бекон и Саутгемптон маскировались так неудачно и, прячась с помощью шифра или подставного лица от Елисаветы и ее времени, распускали себя так неосторожно на глазах у всей последующей истории? Какую заднюю мысль или хитрость можно предположить в том верхе опрометчивости, какую представляет этот несомненно существовавший человек, не стыдившийся описок, зевавший перед лицом веков от усталости и знавший себя хуже, чем знают его теперь ученики средней школы? В обнаруженных слабостях проявляет себя его сила.

Попутно возникает другое недоумение. Почему именно посредственность с таким пристрастием занята законами великого? У нее свое представление о художнике, бездеятельное, усладительное, ложное. Она начинает с допущения, что Шекспир должен быть гением в ее понимании, прилагает к нему свое мерило, и Шекспир ему не удовлетворяет.

Его жизнь оказывается слишком глухой и будничной для такого имени. У него не было своей библиотеки, и он слишком коряво подписался под завещанием. Представляется подозрительным, как одно и то же лицо могло так хорошо знать землю, травы, животных и все часы дня и ночи, как их знают люди из народа, и в то же время быть настолько своим человеком в вопросах истории, права и дипломатии, так хорошо знать двор и его нравы. И удивляются, и удивляются, забыв, что такой большой художник, как Шекспир, неизбежно есть все человеческое, вместе взятое.

«КОРОЛЬ ГЕНРИХ ЧЕТВЕРТЫЙ»

Одна пора Шекспировой биографии для нас особенно несомненна. Это пора его юности.

Он тогда только что приехал в Лондон молодым безвестным провинциалом из Стратфорда. Вероятно, на какое-то время он, как высадился, остановился за городской чертой, до которой доезжали извозчики. Там было нечто вроде ямской слободы. Ввиду круглосуточного движения прибывающих и отбывающих предместье, наверное, день и ночь жило жизнью нынешних вокзалов и было, вероятно, богато

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru прудами и рощами, огородами, экипажными и увеселительными заведениями, загородными садами и балаганами. Здесь могли быть театры. Сюда приезжала развлекаться молодая веселящаяся знать из Лондона.

Это был мир, по-своему близкий миру Тверских-Ямских в пятидесятых годах прошлого столетия, когда в Замоскворечьи жили и подвизались лучшие русские продолжатели стратфордского провинциала – Аполлон Григорьев и Островский, в сходном окружении девяти муз, высоких идей, троек, трактирных половых, цыганских хоров и образованных купцов-театралов.

Молодой приезжий был тогда человеком без определенных занятий, но зато с необыкновенно определенной звездой. Он верил в нее. Только эта вера и привела его из захолустья в столицу. Он еще не знал, какую роль будет он когда-нибудь играть, но чувство жизни подсказывало ему, что он сыграет ее неслыханно и небывало.

Все, за что он ни брался, делали до него – сочиняли стихи и пьесы, играли на сцене, оказывали услуги кутящим аристократам и всеми способами старались выйти в люди. Но за что ни брался этот молодой человек, он чувствовал прилив таких ошеломляющих сил, что самым лучшим для него было нарушать установившиеся навыки и делать все по-своему.

До него искусством считалось одно деланное, неестественное и не похожее на жизнь. Это несходство с жизнью было обязательным отличием искусства, и к нему прибегали, чтобы скрыть под этой ложной условностью свое неумение рисовать и душевное бессилие. А у Шекспира был такой превосходный глаз и такая уверенная рука, что для него прямою выгодой было опрокинуть это положение.

Он понимал, как он выиграет, если с общепринятой дистанции подойдет к жизни на своих ногах, а не на ходулях, и, состязаясь с нею в выдержке, заставит ее опустить глаза первую перед упорством его немигающего взгляда.

Была какая-то компания актеров, писателей и их покровителей, которая переходила из кабака в кабак, задирали незнакомых и, вечно рискуя головою, смеялась над всем на свете. Самым отчаянным и неведимым (ему все сходило с рук), самым неумеренным и трезвым (хмель не брал его), возбуждавшим самый неудержимый смех и самым сдержанным был этот мрачный юноша, в семимильных сапогах быстро уходивший в будущее.

Может быть, к кружку этой молодежи действительно принадлежал толстяк и старый обжора вроде фальстафа. А может быть, это воплощенное в форме выдумки позднейшее воспоминание о том времени.

Оно было дорого Шекспиру не только былым весельем. То были дни рождения его реализма. Его реализм увидел свет не в одиночестве рабочей комнаты, а в заряженной бытом, как порохом, необузданной утренней комнате гостиницы. Реализм Шекспира не глубокомыслие остепенившегося гуляки, не пресловутая «мудрость» позднейшего опыта. Серьезнейшее, нешуточное, трагическое и вещественное искусство Шекспира родилось из ощущения успешности и силы во время этих ранних дурачеств, полных взбаломошной изобретательности, дерзости, предприимчивости и смертельного бешеного риска.

«МАКБЕТ»

Трагедия «Макбет» с полным правом могла бы называться «Преступлением и наказанием». Я не мог отделаться от параллелей с Достоевским, когда переводил ее.

Подготавливая убийство Банко, Макбет говорит наемным убийцам:

Через час, не больше,
Разведчик вам покажет, где вам стать,
И вам назначит миг для нападения.
Кончайте все поодаль от дворца
Сегодня ночью.

Немного спустя, в третьей сцене третьего акта, убийцы прячутся среди парка в засаде. На ночной пир в замок съезжаются гости. Убийцы подстерегают приглашенного Банко. Они переговариваются:

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Второй убийца

Наверно, это он. Другие все

Уж во дворце.

Первый убийца

Их кони повернули.

Третий убийца

Их увели. Дорога для езды

Идет обходом с милю. Верно, Банко

Пройдет чрез парк пешком, как ходят все.

Убийство дело отчаянное, опасное. Перед его совершением надо все тщательно обдумать, предусмотреть все возможности. Шекспир и Достоевский, думающие за своих героев, наделяют их даром предвиденья и воображением, равным их собственному. Способность к своевременному уточнению частностей здесь одинаковая у авторов и их героев. Это двойной, повышенный реализм детектива или уголовного романа, осторожный, оглядывающийся, как само преступление.

Макбет и Раскольников не природные злодеи, не преступники от рождения.

Преступниками делают их ложные головные построения, шаткие ошибочные умозаключения.

В одном случае толчком, отправной точкой служит предсказание ведьм, зажигающее в человеке целый пожар честолюбия. В другом – слишком далеко зашедшее нигилистическое допущение, что если Бога нет, то все дозволено, а значит, и совершение убийства, ничем существенным не отличающееся от любого другого человеческого действия или поступка.

Особенно огражден от последствий Макбет. Что может грозить ему? Шествующий по полю лес? Человек, не рожденный женщиной? Но таких вещей не бывает, это явные несообразности. Иными словами, он может проливать кровь безнаказанно. Да и в самом деле, какой закон будет обратим против него, когда, придя к королевской власти, сам он, и только он один, будет издавать законы?

Кажется, все так ясно и логично. Что может быть проще и очевиднее? И злодеяния совершаются одно за другим, много злодеяний в течение долгого времени, а потом лес вдруг трогается с места и пускается в путь, и является мститель, не рожденный женщиной.

Кстати о леди Макбет. Черты сильной воли и хладнокровия не главные в ее характере. Мне кажется, более общие женские свойства в ней преобладают. Это образ деятельной, настойчивой женщины в браке, женщины – пособницы и мужней опоры, не отделяющей интересов мужа от своих собственных и принимающей его замыслы бесповоротно на веру. Она их не обсуждает, не подвергает разбору и оценке. Размышлять, сомневаться и составлять планы – это дело мужа и его забота. Она их исполнительница, более непоколебимая и последовательная, чем он сам. Она берет на себя чрезмерное бремя и погибает, не соразмерив сил, не от угрызений совести, а от душевного изнеможения, от сердечной тоски и усталости.

«КОРОЛЬ ЛИР»

«Короля Лира» трактуют всегда слишком шумно. Своевольничающий старик самодур, собрания в гулком дворцовом зале, окрики и приказания, а потом вопли отчаяния и проклятия, сливающиеся с раскатами грома и шумом ветра. Но, по существу, в трагедии бушует только ночная буря, а забившиеся в шалаш, смертельно перепуганные люди разговаривают шепотом.

«Король Лир» такая же тихая трагедия, как и «Ромео и Джульетта», и по той же причине. В «Ромео и Джульетте» скрывается и подвергается преследованию взаимная любовь юноши и девушки, а в «Короле Лире» – любовь дочерняя и в более широком смысле любовь к ближнему, любовь к правде.

В «Короле Лире» понятиями долга и чести притворно орудуют только уголовные преступники. Только они лицемерно красноречивы и рассудительны, и логика и разум служат фарисейским основанием их подлогам, жестокостям и убийствам. Все порядочное в «Лире» до неразличимости молчаливо или выражает себя противоречивой невнятицей, ведущей к недоразумениям. Положительные герои трагедии – глупцы и сумасшедшие, гибнущие и побежденные.

Вещь с этим содержанием написана языком ветхозаветных пророков и отнесена в легендарные времена дохристианского варварства.

О НАЧАЛЕ ТРАГИЧЕСКОГО И КОМИЧЕСКОГО У ШЕКСПИРА

У Шекспира нет комедий и трагедий в чистом виде, но более или менее средний и смешанный из этих элементов жанр. Он больше отвечает истинному лицу жизни, в которой тоже перемешаны ужасы и очарование. Эту сообразность тона ставят в заслугу Шекспиру английские критики всех времен, от С. Джонсона до Т.-С. Элиота.

В трагическом и комическом Шекспир видел не только возвышенное и общежитейское, идеальное и реальное. Он смотрел на них как на нечто подобное мажору и минору в музыке. Располагая материал драмы в желательном порядке, он пользовался сменой поэзии и прозы и их переходами как музыкальными ладами.

Их чередование составляет главное отличие Шекспировой драматургии, душу его театра, тот широчайший скрытый ритм мысли и настроения, о котором говорилось в заметке о «Гамлете».

К этим контрастам Шекспир прибегал систематически. В форме таких, то шутовских, то трагических, часто сменяющихся сцен написаны все его драмы. Но в одном случае он пользуется этим приемом с особенным упорством.

У края свежей могилы Офелии зал смеется над краснобайством философствующих могильщиков. В момент выноса Джульетты мальчик из лакейской потешается над приглашенными на свадьбу музыкантами, и они торгуются с выпроваживающей их кормилицей. Самоубийство Клеопатры предваряет появление придурковатого египтянина со змеями и его нелепые рассуждения о бесполезности гадов. Почти как у Леонида Андреева или Метерлинка!

Шекспир был отцом и учителем реализма. Общеизвестно значение, которое он имел для Пушкина, Гюго и других. Им занимались немецкие романтики. Один из Шлегелей переводил его, а другой вывел из творений Шекспира свое учение о романтической иронии. Мы не знаем, где нашлась бы подходящая литературная форма для необычайного сцепления Шеллинговых и Гегелевых идей, если бы не существовало Шекспира и его еще более безумной страсти к сочетанию любых понятий в любом порядке. Шекспир – предшественник будущего символизма Гёте в «Фаусте». Наконец, чтобы ограничиться самым важным, Шекспир – провозвестник позднейшего одухотворенного театра Ибсена и Чехова.

В этом именно духе и заставляет он ржать и врываться пошлую стихию ограниченности в погребальную торжественность своих финалов.

Ее вторжения отодвигают в еще большую даль и без того далекую и недоступную нам тайну конца и смерти. Почтительное расстояние, на котором мы стоим у порога высокого и страшного, еще немного вырастает. Для мыслителя и художника не существует последних положений, но все они предпоследние. Шекспир словно боится, как бы зритель не уверовал слишком твердо в мнимую безусловность и окончательность развязки. Перебоями тона в конце он восстанавливает нарушенную бесконечность. В духе всего нового искусства, противоположного античному фатализму, он растворяет временность и смертность отдельного знака в бессмертии его общего значения.

1946 – 1956

ПЕРЕВОДЫ ИЗ В. ШЕКСПИРА

СОНЕТ 66

Измучась всем, я умереть хочу.
Тоска смотреть, как мается бедняк,
И как шутя живется богачу,
И доверять, и попадать впросак,
И наблюдать, как наглость лезет в свет,
И честь девичья катится ко дну,
И знать, что ходу совершенствам нет,
И видеть мощь у немощи в плену,
И вспоминать, что мысли заткнут рот,
И разум сносит глупости хулу,
И прямодушье простотой сльвет,
И доброта прислуживает злу.
Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу трудно будет без меня.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

СОНЕТ 73

То время года видишь ты во мне,
Когда из листьев редко где какой,
Дрожа, желтеет в веток голизне,
А птичий свист везде сменил покой.
Во мне ты видишь бледный край небес,
Где от заката памятка одна,
И, постепенно взявши перевес,
Их печатывает темнота.
Во мне ты видишь то сгоранье пня,
Когда зола, что пламенем была,
Становится могилою огня,
А то, что грело, изошло дотла.
И, это видя, помни: нет цены
Свиданьям, дни которых сочтены.

СОНЕТ 74

Но успокойся. В дни, когда в острог
Навек я смертью буду взят под стражу,
Одна живая память этих строк
Еще переживет мою пропажу.
И ты разыщешь, их перечитав,
Что было лучшею моей частицей.
Вернется в землю мой земной состав,
Мой дух к тебе, как прежде, обратится.
И ты поймешь, что только прах исчез,
Не стоящий нисколько сожаленья,
То, что отнять бы мог головорез,
Добыча ограбленья, жертва тленья.
А ценно было только то одно,
Что и теперь тебе посвящено.

ЗИМА

Когда в сосульках сеновал,
И дуют в руки на дворе,
И Том дрова приносит в зал,
И мерзнет молоко в ведре,
И стынет кровь, и всюду грязь,
Заводит сыч, во тьму вперясь:
Ту-гу!

Ту-ит, ту-гу! Ну и певун!
Вся в сале, Анна трет чугуны.
Когда от кашля прихожан
Не слышно пасторовых слов,
И птицы хохлятся в бурани,
И у Марьяны нос багров,
И прыщут груши в кипятке,
Заводит филин вдалеке:

Ту-гу!

Ту-ит, ту-гу! Ну и певун!
Вся в сале, Анна трет чугуны.

МУЗЫКА

Лирой заставлял Орфей
Горы с гибкостью ветвей
Наклоняться до земли.
На призыв его игры
Травы из земной коры
Выходили и цвели.
Все, что слышало напев,
Никло ниц, оторопел,
И смирялась моря гладь.
Музыка глушит печаль.
За нее в ответ не жаль,
Засыпая, жизнь отдать.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОВОЙ ГРУЗИНСКОЙ ПОЭЗИИ

(Замечания переводчика)

В ряду искусства Грузии ее новая поэзия занимает первое место. Своим огнем и яркостью она отчасти обязана сокровищам грузинского языка. Народная речь в Грузии до сих пор пестрит пережитками старины и следами забытых поверий. Множество выражений восходят к обрядовым особенностям старого языческого и

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
нового христианского календаря.

Явления словесности, например, красоты иного изречения или тонкости какой-нибудь поговорки, больше чем византизмы церковной мелодии или фрески соответствуют впечатлительности и живости грузинского характера, склонности фантазировать, ораторской жилке, способности увлекаться.

Перечисленные черты общительности и балагурства составили судьбу и природу Николая Бараташвили. Он как метеор озарил грузинскую поэзию на целый век вперед и прочертил по ней путь, донныне неизгладимый.

Несмотря на личное нелюбимство и на одиночество своей музы, Бараташвили непредставим в тиши действительного уединения, о котором он так часто вздыхает. Его нельзя отделить от городского общества, с которым он вечно на ножах, как неотделим световой луч от дробящей его хрустальной грани, высекающей радугу в месте его излома. Трагические раздоры Бараташвили со средой изложены им так ясно и просто, что стали для потомства школою миролюбия и верности обществу.

Ближайший к нему по значительности и равный Важа Пшавела во многом представляет его полную противоположность.

Во-первых, в отличие от Бараташвили, это действительный отшельник и созерцатель, затерявшийся в неприступных горах. Кроме того, только примирительница-смерть слила своенравную речь Бараташвили с общим голосом, между тем как Важа Пшавела с самого начала писал так, как говорит в горах простой народ под тяжестью своего повседневного обихода. Однако суровую эту ноту высокогорной разобщенности Важа Пшавела углубил до такой степени, что его книги стали достоянием избранных и религией личности, способной поспорить с созданиями величайших индивидуалистов Запада в недавнее время.

Поэтическая литература наших дней в любой стране мира, в том числе и в России и в Грузии, представляет естественное следствие символизма и всех вышедших из него, а также и всех враждовавших с ним школ. Лучшим завершением всех этих течений может служить свежее, разнообразное творчество Симона Чиковани.

Право на это место дает ему определенность и окончательность его тона – обычное свойство всего большого, в отличие от расплывчатой приблизительности – удела несовершенств.

Образная стихия общая всякой поэзии получает у Чиковани новое, видоизмененное, повышено существенное значение. Чиковани артист и живописец по натуре, и как раз эта артистичность, порядка Уитмана и Верхарна, дает ему широту и свободу в выборе тем и их трактовке.

Образ в поэзии почти никогда не бывает только зрительным, но представляет некоторое смешанное жизнеподобие, в состав которого входят свидетельства всех наших чувств и все стороны нашего сознания. Сообразно с этим и та живописность, о которой мы говорим применительно к Чиковани, далека от простого изобразительства. Живописность эта представляет высшую степень воплощения и означает предельную, до конца доведенную конкретность всего в целом: любой мысли, любой темы, любого чувства, любого наблюдения.

Чиковани не случайное и закономерное звено в общем развитии грузинской мысли. Сказочную замысловатость Важа Пшавелы он соединяет с порывистым, всему свету открытым драматизмом Бараташвили.

Мы бы очень исказили картину нынешнего состояния грузинской поэзии, если бы умолчали о другом ярком и замечательном таланте наших дней, Георгии Леонидзе, поэте сосредоточенных и редких настроений, нерасторжимых с почвою, на которой они родились, и с языком, на котором они высказаны. Это автор образцовых стихов, на другой язык почти непереводаемых. Но наши замечания не притязают на полноту, а то бы мы не упустили из виду литературной деятельности и славы Акакия Церетели, свежей и захватывающей непосредственности Николая Надирадзе, высокого мастерства Валериана Гаприндашвили и многих других.

Еще более беспорядочны и несистематичны, чем наши замечания, наши случайные переводы. В них зияет, например, такой сразу бросающийся в глаза пробел, как совершенное отсутствие Галактиона Табидзе, справедливой гордости текущей

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru поэтической литературы, и недостаточное ознакомление с другим ее украшением, Иосифом Гришавили, представленным в сборнике только одним стихотворением. Не переведены Мосашвили и Машавили, вместе со множеством новых, появившихся за последнее время имен. Но эти упущения блестяще восполнены другими современными переводчиками.

Годы моего первого знакомства с грузинской лирикой составляют особую, светлую и незабываемую страницу моей жизни. Воспоминания о толках и побуждениях, вызвавших эти переводы, а также подробности обстановки, в которой они производились, слились в целый мир, далекий и драгоценный, признательности которому не вмещают рамки настоящего предисловия.

21 декабря 1946 г.

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ТИЦИАНА ТАБИДЗЕ
Иду со стороны черкесской
По обмелевшему ущелью.
Неистойей морского плеска
Сухого Терека веселье.
Перевернувшееся небо
Подперто льдами на Казбеке,
И рев во весь отвес расщепя,
И скал слезящиеся веки.
Я знаю, от кого ты мчишься.
Погони топот все звончее.
Плетями вздувшиеся мышцы.
Аркан заржавленный на шее.
Нет троп от демона и рока.
Любовь, мне это по заслугам.
Я не болтливая сорока,
Чтоб тешиться твоим испугом.
Ты – женщина, а кто из женщин
Не верит: трезвость не обманет.
Но будто б был я с ней обвенчан –
Меня так эта пропасть тянет.
Хочу, чтоб знал отвагу Мцыри,
Терзая барса страшной ночью.
И для тебя лишь сердце ширю
И переполненные очи.
Свалиться замертво в горах бы
Нагим до самой сердцевины.
Меня убили за Арагвой,
Ты в этой смерти неповинна.
* * *

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет – и с места сдышит,
И живо схоронит. Вот что стих.
Под ливнем лепестков родился я в апреле.
Дождями в дождь, белея, яблони цвели.
Как слезы, лепестки дождями в дождь горели.
Как слезы глаз моих они мне издали.
В них знак, что я умру. Но если взоры чьи-то
Случайно нападут на строчек этих след,
Замолвят без меня они в мою защиту,
А будет то поэт, – так подтвердит поэт.
Да, скажет, был у нас такой несчастный малый
С орпирских берегов, – большой оригинал.
Он припасал стихи, как сухари и сало,
И их, как провиант, с собой в дорогу брал.
И до того он был до самой смерти мучим
Красой грузинской речи и грузинским днем,
Что верностью обоим, самым лучшим,
Заграждена дорога к счастью в нем.
Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет – и с места сдышит,

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
И заживо схоронит. Вот что стих.

* * *

Если ты – брат мне, то спой мне за чашею,
И пред тобой на колени я грянусь.
Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая,
Твой я вовек и с тобой не расстанусь.
Кто дал окраску мухранскому соку?
Кто – зеленым на арагвинском плесе?
Есть ли предел золотому потоку,
Где б не ходили на солнце колосья?
Если умрет кто нездешний, то что ему,
Горы иль сон эта высь голиафья?
Мне ж, своему, как ответить по-своему
Этим горящим гостям полуяви?
Где виноградникам счет, не ответишь ли?
Кто насадил столько разом лозины?
Лучше безродным родиться, чем детищем
Этой вот родины неотразимой.
С ней мне и место, рабу, волочащему
Цепью на шее ее несказанность.
Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая,
Твой я вовек и с тобой не расстанусь.

* * *

Лежу в Орпири мальчиком в жару.
Мать заговор мурлычет у кровати
И, если я спасусь и не умру,
Сулит награды бесам лихорадки.
Я – зависть всех детей. Кругом возня.
Мать причитает, не сдаются духи.
С утра соседки наши и родня
Несут подарки кори и краснухе.
Им тащат, заклинанья говоря,
Черешни, вишни, яблоки и сласти,
Витыми палочками имбиря
Меня хотят избавить от напасти.
Замотана платками голова.
Я плаваю под ливнем роз и лилий;
Что это – одеяла кружева
Иль ангела спустившиеся крылья?
Болотный ветер, разносящий хворь,
В кипеньи персиков теряет силу.
Обильной жертвой ублажают корь,
За то чтоб та меня не умертвила.
Вонжу, не медля мига, в сердце нож,
Чтобы напев услышать тот же самый,
И сызнава меня охватывает дрожь
При тихом, нежном причитанье мамы.
Не торопи, читатель, погоди.
В те дни, как сердцу моему придется
От боли сжаться у меня в груди,
Оно само стихами отзовется.
Пустое нетерпенье не предлог,
Чтоб мучить слух словами неживыми,
Как мучит матку без толку телок,
Ей стискивая высохшее вымя.

ПЕРЕВОДЫ ИЗ ПАОЛО ЯШВИЛИ
ОБНОВЛЕНЬЕ

Большое чувство вновь владеет мной.
Его щедрот мой мозг вместить не в силах.
Поговорим. Свой взор вперяю в твой
И слов ищу, простых и не постылых.
На выходки мальчишеской поры,
На то, за что я и сейчас в ответе,
На это все, как тень большой горы,
Ложится тень того, что ты на свете.
И так как угомону мне не знать,
То будь со мной в часы моих сомнений.
А седины серебряная прядь –

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Лишь искренности новое свечение.
Ах, тридцать восемь лет промчались так,
Как жизнь художника с любимым цветом.
Разделим вместе мужественный знак
Великих дней, которым страх неведом.
Не бойся сплетен. Хуже – тишина,
Когда, украдкой пробираясь с улиц,
Она страшит, как близкая война
И как свинец в стволе зажатой пули.
СТОЛ – ПАРНАС МОЙ
Будто письма пишу, будто это игра,
Вдруг идет как по маслу работа.
Будто слог – это взлет голубей со двора,
А слова – это тень их полета.
Пальцем такт колотя, все, что видел вчера,
Я в тетрадке свожу воедино.
И поет, заливаясь кончик пера,
Расщепляется клюв соловьиный.
А на стол, на Парнас мой, сквозь ставни жара
Тянет проволоку из щели.
Растерявшись при виде такого добра,
Столбенеет поэт-пустомеля.
На чернил мишуре так желта и сыра
Светового столба круговина,
Что смолкает до времени кончик пера,
Закрывается клюв соловьиный.
А в долине с утра – тополя, хутора,
Перепелки, поляны, а выше
Ястреба поворачиваются, как флюгера
Над хребта черепичною крышей.
Все зовут, и пора, вырываюсь – ура!
И вот-вот уж им руки раскину,
И в забросе, забвении кончик пера,
В небрежении клюв соловьиный.
ПЕРЕВОДЫ ИЗ СИМОНА ЧИКОВАНИ
ПРИХОД РЫБАКА
Такие ночи сердце гложут,
Стихами замыслы шумят,
То, притаившись, крылья сложат,
То, встрепенувшись, распрямят.
За дверью майский дождь хлопочет,
Дыханье робости сырой.
Он на землю ступить не хочет
И виснет паром над Курой.
Как вдруг рыбак с ночным уловом, –
Огонь к окну его привлек.
До рифм ли тут с крылатым словом?
Все заслонил его садок.
Вот под надежным кровом рыба.
Но дом людской – не водоем.
Она дрожит, как от ушиба
Или как окна под дождем.
Глубинных тайников жилища,
Она – не для житейской вонюхи.
А строчке дома не сидится,
Ей только жизнь на стороне.
А строчку дома не занежишь,
И только выведешь рукой,
Ей слаще всех земных убежищ
Путь от души к душе другой.
Таких-то мыслей вихрь нахлынул
Нежданно на меня вчера,
Когда рыбак товар раскинул,
Собрал и вышел со двора.
Прощай, ночное посещение!
Ступай, не сетуй на прием.
Будь ветра встречное течение
Наградой на пути твоём.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

Мы взобрались до небосвода,
Живем у рек, в степной дали,
В народе, в веянье народа,
В пьянящем веянье земли.
Мы лица трогаем ладонью,
Запоминаем навсегда,
Стихов закидываем тоню
И тащим красок невода.
В них лик отца и облик вдовий,
Путь труженика, вешний сад,
Пыль книг, осевшая на брови,
Мингрельский тающий закат.
Все это в жизнь выносит к устьям,
Но в жизни день не сходен с днем.
Бывает, рыбу и упустим,
Да после с лихвою вернем.
Когда ж нагрянувшая старость
Посеребрит нас, как рассвет,
И ранняя уймется ярость,
И зрелость сменит зелень лет,
Тогда как день на водной глади
Покоит рощи и луга,
Так чувства и у нас в тетради
Войдут и станут в берега.

РАБОТА

Настоящий поэт осторожен и скуп.
Дверь к нему изнутри заперта.
Он слететь не позволит безделице с губ,
Не откроет не вовремя рта.
Как блаженствует он, когда час молчалив!
Как ему тишина дорога!
Избалованной лиры прилив и отлив
Он умеет вводить в берега.
Я сдержать налетевшего чувства не мог,
Дал сорваться словам с языка,
И, как вылитый в блюдце яичный белок,
Торопливая строчка зыбка.
И, как раньше, в часы недовольства собой –
Образ Важа Пшавела при мне.
Вот и сам, вот и дом, вот и крыша с трубой,
Вот и купы чинар в стороне.
И, как к старшему младший, застенчив и нем,
Подхожу я к его очагу
И еще окончательнее, чем пред тем,
Должных слов подыскать не могу.
Я ищу их, однако, и шелест листа
Пробуждает под утро жену.
Мы читаем сомнительные места.
Завтра я их совсем зачеркну.
И начальная мысль не оставит следа,
Как бывало и раньше раз сто.
Так проклятая рифма толкает всегда
Говорить совершенно не то.

ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИ

Под карнизом на моем балконе
Ласточка гнездо проворно вьет
И, как свечку, в выгибе ладони,
Жар яйца в укрытье бережет.
Ласточка искусней нижет прутья,
Чем иглой работает швея.
Это попеченья об уюте
Сказочнее пенья соловья.
Может быть, помочь мне мастерице?
Я в окно ей кину свой дневник.
Пусть без связи выхватит страницу
И постелет, словно половик.
Даже лучше, что, оставшись втуне,
Мысль моя не попадет в печать.

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Пусть она у бойкой хлопотуньи
Не шутя научится летать.
И тогда в неузнанном обличье
Грусть, которой я не устерег,
Крыльями ударивши по-птичьи,
Ласточкою выпорхнет из строк.
Не летите прочь от нас, касатки!
В Грузии вам ласка и почет.
Четверть века вскапывали грядки,
Почки набухают круглый год.
Грузия весь год на страже мая.
В ней зима похожа на весну.
Я вам звезд на гнезда наломаю,
Вас в стихи зимою заверну.
Режьте, режьте воздух беспредельный,
Быстрые, как ножниц остря!
Вас, как детство, песней колыбельной
Обступила родина моя.
Что же ты шарахаешься, птаха?
Не мечись, не бейся – погоди.
Я у слова расстегну рубаху
И птенца согрею на груди.

СНЕЖОК

Ты в меня запустила снежком.
Я давно человек уже зрелый.
Как при возрасте этом моем
Шутишь ты так развязно и смело?
Снег забился мне за воротник,
И вода затекает за шею.
Снег мне, кажется, в душу проник,
И от холода я молодею.
Что мы смотрим на снежную гладь?
Мы ее, чего доброго, сглазим.
Не могу своих мыслей собрать.
Ты снежком сбила их наземь.
Седины моей белой кудель
Ты засыпала белой порошей.
Ты попала без промаха в цель
И в восторге забила в ладоши.
Ты хороший стрелок. Ты метка.
Но какой мне лечиться микстурой,
Если ты меня вместо снежка
Поразила стрелю амура?
Что мне возраст и вид пожилой?
Он мне только страданье усилит.
Я дрожащей любовной стрелой
Ранен в бедное сердце навывлет.
Ты добилась опять своего,
Лишний раз доказав свою силу,
В миг, когда ни с того ни с сего
Снежным комом в меня угодила.

Примечания

1

Каток для катания на роликовых коньках (от англ. *skating-rink*).

2

Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда в волнении бури я рисую, девочка, твои черты. Ник. Ленау (нем.).

3

Медовый месяц (фр.).

4

Разговор с глазу на глаз (фр.).

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

5

Кратко (ит.), укороченный счет 2/2 (муз.).

6

Книга – это большое кладбище, где на многих плитах уж не прочесть стершиеся имена. Марсель Пруст (фр.).

7

Фореитор в старом народном произношении. (Прим. Б. Пастернака.)

8

«Лгунья!» (фр.).

9

Ваш ребенок (фр.)

10

Об одобренных рекомендациях и о жестокостях... зверствах, как говорится по-русски (фр.).

11

Скажите снова... Начинайте (фр.).

12

Скажите (фр.).

13

Слышишь? (фр.)

14

Да, да – неслыханно, прелестно (фр.).

15

Украл ли Петя яблоко? Да, Петя украл... И так далее (фр.).

16

Слушайте... завтра (фр.).

17

Преждевременные роды (лат.).

18

«Мне на праздник» (нем.).

19

Горе, забота (нем.).

20

Итак, милостивые государи... (нем.).

21

«Я понял жизни цель». Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Опасаясь недоразумений, напомню. Я говорю не о материальном содержании искусства, не о сторонах его наполнения, а о смысле его явления, о его месте в жизни. Отдельные образы сами по себе – воззрительны и зиждутся на световой аналогии. Отдельные слова искусства, как и все понятия, живут познанием. Но не поддающееся цитированию слово всего искусства состоит в движении самого иносказанья, и это слово символически говорит о силе. (Прим. Б. Пастернака)

22
Что такое апперцепция (восприятие)? (нем.).

23
Стихи (нем.).

24
2 франка 14 сантимов (нем.-фр.).

25
«Турецкий квартал! Немецкий квартал!» (ит.).

26
Как у Радецкого (фр.).

27
Даже ее прозвище произошло от победы, – // «Распространительница льва», которого сквозь огонь // И кровь она несла покоренной суше и морю (англ., перев. Б. Пастернака).

28
Львиная пасть (ит.).

29
Быстро и гневно (ит.).

30 Ибо «плохое» и «хорошее» – пустыни моей души (фр.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!